джек
керуак



бродяги дхармы

Бродяги Дхармы
Джек Керуак

Аннотация
Джек Керуак. Бродяги Дхармы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Аннотация

Джек Керуак (1922–1969) — один из главных персонажей и создателей молодежной культуры XX века. В 2002 году рукопись его самого знаменитого романа «В дороге» (147-метровый рулон бумаги без единого знака препинания) была продана на аукционе почти за 2,5 миллиона долларов.

От богемных притонов Сан-Франциско до разреженного воздуха горного безлюдья — история духовных исканий глашатая бит-поколения, очередной фрагмент «Саги о Дулуозе». Впервые публикуется в данном переводе.

Джек Керуак
Бродяги Дхармы

1

Прыгнув однажды днем в конце сентября 1955 года на товарняк из Лос-Анжелеса, я сразу же забрался в угол полувагона и улегся, подложив вещмешок под голову, закинув нога на ногу и созерцая проплывающие облака, пока поезд катился на север, к Санта-Барбаре. Товарняк был местным, и я собирался переночеватъ в Санта-Барбаре на пляже, а на следующее утро либо поймать еще один местный до Сан-Луис-Обиспо, либо в семь вечера сесть на первоклассный состав аж до самого Сан-Франциско. Где-то возле Камарилло, где Чарли Паркер сначала свяхнулся, а потом отдохнул и снова поправился, в мою люльку влез пожилой, тощий и маленький бродяга — мы как раз съезжали на боковую ветку, пропуская встречный, и мужичок, кажется, удивился, увидев меня внутри. Сам он устроился в другом конце люльки: улегся лицом ко мне, положив голову на свою жалкую котомку, и ничего не сказал. Вскорости дали свисток, главная магистраль освободилась — после того, как пронесся восточный грузовой, — и мы тронулись;

холодало, и с моря в теплые долины побережья потянуло туманом. Мы с маленьким бродягой после безуспешных попыток согреться, кутаясь в свои тряпки на стальном полу вагона, поднялись и забегали взад и вперед по углам, подпрыгивая и похлопывая себя по бокам. Довольно скоро заехали еще на одну ветку в каком-то пристанционном городишке, и я прикинул, что без пузыря токайского мне не скоротать в сумерках холодный перегон до Санта-Барбары.

— Посмотришь тут за моим мешком, пока я сгоняю за бутылкой?

— Ну дак.

Я перемахнул через борт и сбегал на ту сторону 101-го шоссе к магазину, где кроме вина купил немного хлеба и конфет. Бегом я вернулся к составу; ждать пришлось еще целых четверть часа, хоть на солнышке и потеплело. Но день клонился к вечеру, и мы бы все равно неизбежно замерзли. Маленький бродяга сидел, скрестив ноги, в своем углу перед убогой трапезой, состоявшей из початой банки сардин. Мне стало его жалко, я подошел и сказал:

— Как по части винца — согреться, а? Может, ты хлеба с сыром хочешь под свои сардины?

— Ну дак. — Он говорил издалека, из глубины

крошечного, кроткого ящичка голоса, словно боясь или не желая утверждать себя. Сыр я купил три дня тому назад в Мехико перед долгой поездкой на дешевом автобусе через Закатекас, Дуранго, Чихуахуа — две тысячи долгих миль к границе в Эль-Пасо. Он ел хлеб с сыром и пил вино — со смаком и благодарностью. Я был доволен. Я напоминал себе строчку из Алмазной Сутры, где говорится: «Будь милосерден, не держа в уме никаких понятий о милосердии, ибо милосердие, в конце концов, — всего лишь слово». В те дни я был очень благочестив и выполнял все свои религиозные обряды почти что в совершенстве. Хотя с тех пор и начал немного жульничать, читая молитвы, стал слегка усталым и циничным: я ведь уже сильно постарел и охладел ко всему… А тогда в самом деле верил в существование милосердия, добра, смирения, пыла, нейтрального спокойствия, мудрости и исступления, и в то, что сам я — бхикку, из тех, что были раньше, только одетый по-современному, я скитаюсь по миру (обычно — по огромной треугольной дуге между Нью-Йорком, Мехико и Сан-Франциско) для того, чтобы повернуть колесо Истинного Значения или Дхармы и заслужить себе положение будущего Будды (Пробуждающего) и будущего Героя

в Раю. Я пока еще не встретил Джафи Райдера — это произойдет на следующей неделе — и ничего не слышал о «Бродягах Дхармы», хотя в то время сам уже был совершеннейшим Бродягой Дхармы и считал себя религиозным странником. Маленький бродяга в нашей с ним люльке лишь укрепил мою убежденность тем, что потеплел от вина, разговорился и, наконец, извлек откуда-то крохотную полоску бумаги с написанной на ней молитвой Святой Терезы, где говорилось, что после смерти она возвратится на землю дождем из роз с небес — навеки и для всех живых существ.

— Откуда у тебя это? — спросил я.

— Я ее вырезал из журнала в читальном зале в Лос-Анжелесе, пару лет назад. Теперь всегда с собою ношу.

— И что — когда залезаешь в пустые вагоны, читаешь?

— Дак считай, каждый день. — После этого он не особо много разговаривал, а про Святую Терезу и вовсе не стал распространяться, лишь очень скромно говорил о своей вере и почти ничего — о самом себе. Это был такой тип тихого тощего бродяжки, на которого мало кто обращает внимание в трущобах, не говоря уже про центральные улицы. Если его сгоняет с места

фараон, он тихо линяет, а если в больших городах по сортировке шныряют охранники, когда оттуда выезжает товарняк, то маловероятно, чтобы они засекли человечка, который прячется в кустах и под шумок прыгает на поезд. Когда я сказал ему, что собираюсь следующей ночью поймать «зиппер» — первоклассный скорый товарняк, — он спросил:

— А-а, так ты имеешь в виду «ночного призрака»?

— Это ты так «зиппер» называешь?

— Ты, наверно, работал на этой дороге, да?

— Ага, тормозным кондуктором на Южно-Тихоокеанской.

— Ну а мы, бродяги, зовем его «ночным призраком», потому что как садишься в Л. А., так никто тебя не видит аж до самого Сан-Франциско поутру — так быстро он летает.

— Восемьдесят миль в час по прямой, папаша.

— Правильно, да только такая холодрыга ночью, когда несешься по берегу севернее Гавиоти и вокруг Сёрфа…

— Да, Сёрф, правильно, а потом — горы южнее Маргариты…

— Маргариты, правильно, а я ездил этим «ночным призраком» больше раз, чем можно

сосчитать, наверно.

— А ты сколько лет ужа дома не был?

— Лет больше, чем сосчитать можно, наверно. Сам-то я из Огайо, вот откуда…

Но вот поезд пошел, ветер похолодал, полез туман, и следующих полтора часа мы делали все, что было в наших силах и возможностях, чтобы не околеть да притом не слишком стучать зубами. Я съеживался и, чтобы избежать холода, медитировал на тепло, на настоящее тепло Бога; потом подскакивал, обхлопывал всего себя руками, топал и пел. У бродяжки же было больше терпения, и он, в основном, просто лежал, жуя свою горькую жвачку, погрузившиеь куда-то в одинокие думы. Зубами я выбивал дроби, губы у меня посинели. К темноте мы с облегчением заметили, как проступают горы Санта-Барбары: скоро остановимся и согреемся в теплой звездной ночи рядом с путями.

На разъезде, где мы оба спрыгнули, я попрощался с маленьким бродягой Святой Терезы и пошел ночевать на песок, завернувшись в одеяла, — ушел далеко по пляжу, к подножию утеса, чтобы легавые не увидали и не прогнали. На свежесрезанных и заточенных палочках над углями большого костра я поджарил себе «горячих

собак», разогрел банку бобов и банку макаронов с сыром, выкопав там ямки, выпил свое новоприобретенное вино и возликовал посреди одной из самых приятных ночей в своей жизни. Побродил по воде и слегка окунулся, постоял, глядя в сверкающее великолепие ночного неба, в десятичудесную вселенную Авалокитешвары с ее тьмой и алмазами.

— Ну, Рэй, — сказал я себе, возрадовавшись, — ехать осталось несколько миль. Ты снова это сделал. — Я был счастлив. В одних плавках, босиком, с распущенными волосами, в красной тьме костра я пел, потягивал вино, плевался, прыгал, бегал — вот как надо жить. Совсем один, свободный, в мягких песках этого пляжа рядом со вздохом моря, и фаллопиевы теплые звезды-девственницы подмигивают, отражаясь в водах жидкого брюха внешнего потока. И если твои консервные банки разогрелись докрасна — так, что невозможно взяться рукой, — возьми просто старые добрые железнодорожные рукавицы, и всего делов-то. Я дал еде немного остыть, чтобы еще чуть-чуть протащиться по вину и собственным мыслям. Я сидел по-турецки в песке и созерцал свою жизнь. Ну вот — и что изменилось? Что будет со мною дальше? Потом вино подействовало на мои вкусо-

вые пупырышки, и вскоре пришлось наброситься на сосиски, скусывая их прямо с острия палочки — хрум-хрум, — и зарываться в обе вкуснющие банки старой походной ложкой, выуживая оттуда роскошные куски горячих бобов со свининой или макаронов в шкворчащем остром соусе и, может быть, чуток песка для приправы. — А сколько же у нас тут песчинок на пляже? — думал я себе. — Ну-у, песчинок столько, сколько звезд в этом небе! — (хрум-хрум) а если так, то: — А сколько же людей здесь было, сколько, на самом деле, вообще живых существ было здесь, начиная с до того, как началась меньшая часть безначального времени? Ой-ё-ёй, я так полагаю, что надо сосчитать количество песчинок на этом пляже, и еще на каждой звезде в небесах, в каждом из десяти тысяч великих хиликосмов, и это будет количество песчинок, не исчислимое ни «Ай-Би-Эмом»,

ни «Берроузом»[1], ну елки-палки, да я и не знаю, в самом деле… — глоток вина — …Я, в самом деле, не знаю, но, должно быть, надцать триллионов секстильонов, помноженное на черт-те сколько раз, которые эта славная Святая Тереза вместе с этим четким старичком вот в эту самую минуту вываливают тебе на голову с лилиями впридачу.

Потом, когда с едой было покончено, вытерев губы красной косынкой, я вымыл посуду в соленом море, раскидав несколько комков песка, побродил, вытер тарелки, засунул их вместе со старой ложкой обратно в просоленный мешок и улегся, завернувшись в одеяло, на добрый и праведный ночной отдых. Проснувшись где-то посреди ночи:

— А? Где это я, что это за баскетбол вечности,

[1] Примечания: 1

Счетная машина Берроуза была запатентована изобретателем из Сент-Луиса Уильямом Сьюардом Берроузом-старшим, дедом соратника Джека Керуака по литературе У. С. Берроуза-мл., когда ему был 31 год. Она стала первой удачной моделью кнопочной счетной машины и хотя в коммерческом отношении была непрактична, Берроуз-ст. с тремя своими партнерами организовал «Американскую Компанию Арифмометров», продал ее акций на 100 тысяч долларов, разработал улучшенную модель, и, хотя новая модель по-прежнему была тяжела в повседневном обращении, умудрился отыскать новые источники капиталовложений и в 1891 году изготовил следующую модель, которая уже умела распечатывать каждую введенную в нее строку цифр вместе с окончательным результатом арифметической операции. В 1893 году он получил патент на первую практическую модель, «Американский Арифмометр», начал массовое их производство и в 1905 году переехал в Детройт, где его компания впоследствии стала «Корпорацией Бер-

роуза». Капитал, заработанный таким образом, позволил безбедно существовать непутевому отпрыску Берроузу-младшему большую часть жизни. — Здесь и далее примечания переводчика.

в который девчонки играют тут, рядом со мной, в стареньком домишке моей жизни, а домик-то еще не горит, а? — Но то — лишь объединившийся шелест волн, с приливом подобравшихся выше и ближе к моему одеялу. — Я стану твердым и старым, как морская раковина. — И вновь засыпаю, и мне снится, что во сне я дышу тремя ломтиками хлеба… Ах, бедный разум человеческий, и одинокий человек в одиночестве на берегу, и Бог, наблюдающий с сосредоточенной, я бы сказал, улыбкой… И мне снился дом, давно, в Новой Англии, и мои биты от чижей пытаются долететь тысячи миль мне вслед по дороге через всю Америку, и мама моя с мешком за спиною, и мой отец, бегущий за призрачным неуловимым поездом, и я видел сон и проснулся на серой заре, увидел ее, понюхал (потому что заметил, как смещается весь горизонт, будто великий рабочий сцены поспешил вернуть его на месте, чтобы я поверил в его реальность) и снова уснул, перевернувшись на другой бок.

— Все это одно и то же, — услышал я собственный голос, раздавшийся в пустоте, которую можно как никогда обьять только во сне.

2

Маленький бродяга Святой Терезы оказался первым подлинным Бродягой Дхармы, которого я встретил, а вторым стад Бродяга Дхармы Номер Один из них всех — то был Джафи Райдер, который и придумал это название. Джафи Райдер — пацан из Восточного Орегона, вырос в бревенчатой избе в лесной глуши с отцом, матерью и сестрой, с самого начала — лесной мальчишка, лесоруб, фермер, любил животных и индейский фольклор, поэтому когда не мытьем так катаньем поступил, наконец, в колледж, то оказался хорошо подготовлен сначала — к занятиям антропологией, потом — индейскими мифами, а также к изучению подлинных текстов индейской мифологии. В конце концов, он выучил китайский и японский, стал востоковедом и обнаружил величайших на свете Бродяг Дхармы — Безумцев Дзэна из Китая и Японии. В то же самое время, выросши на Северо-Западе и обладая склонностью к идеализму, он заинтересовался старомодным ИРМ-овским[2]

[2] Примечания: 2

«Индустриальные Рабочие Мира» — американская профсоюзная организация.

анархизмом, научился играть на гитаре и петь старые рабочие песни — что хорошо сочеталось с его любовью к индейским песням и вообще интересом к фольклору. Я впервые увидел его на улице в Сан-Франциско на следующей неделе (после того, как стопом проехал остаток пути от Санта-Барбары за один длинный, но молниеносный перегон, подаренный мне — никто все равно не поверит — прекрасной милашкой, молоденькой блондиночкой в белоснежном купальнике без лямочек, босиком, с золотым браслетом на лодыжке, она вела новейший красно-коричневый «линкольн-меркурий» и так сильно хотела бензедрину, чтобы доехать до самого Города, что когда я сказал, что у меня в мешке немного есть, она завопила: «Безумно!») — я увидел, как Джафи скачет по улице такими смешными длинными шагами человека, привыкшего лазить по горам, с рюкзачком за спиною, набитым книгами, зубными щетками и всякой ерундой — то был его маленький «выходной» рюкзачок «для города» в отличие от здоровенного рюкзачища в комплекте со спальником, пончо и котелками. Он носил маленькую козлиную бородку, выглядевшую до странности по-восточному, если учесть его слегка раскосые зеленые глаза; но он совсем не походил

на богему, он был далеко не богемой (то есть тусовщиком вокруг искусств). Он был жилистый, загорелый, бодрый, открытый, весь приветливый и готовый поболтать — он вопил «привет» даже бродягам на улице, а когда у него что-нибудь спрашивали, отвечал без промедления то, что было у него на уме, уж и не знаю, что там было, но всегда — бойко и искристо.

— Где это ты встретил Рэя Смита? — спросили у него, когда мы зашли в «Место», любимый бар всех хипанов[3] на Пляже.

— О, я всегда встречаю своих Бодхисаттв на улице! — завопил он и заказал пива.

То была великая ночь, во многих отношениях — историческая ночь. Они с некоторыми другими поэтами (а он, к тому же, писал стихи и переводил китайскую и японскую поэзию на английский) должны были давать вечер в городской «Галерее

---

[3] Примечания: 3

Очень популярное слово «хипи», пришедшее из американской контркультуры 60-х годов со всеми своими производными, имело своим корнем слово «hep», употреблявшееся джазовыми музыкантами с начала века в значении «современный, модный, знающий, осознающий». В свою очередь, его происхождение весьма туманно; возможно, таким восклицанием тамбурмажор подгонял первых джазменов, которым приходилось участвовать в различных маршах, парадах и процессиях, особенно похоронных. Также возможный корень — «hipicat» (или модернизированное «hepcat»), на африканском языка волоф означавшее «осознавший, прозревший человек».

Шесть»[4]. Все собирались в баре и надирались. Но пока они собирались и рассаживались, я заметил, что Джафи единственный не походил на поэта, хоть и был самым настоящим поэтом. Остальные были либо хиповыми интеллектуалами в роговых очках и с дикими черными волосами, вроде Алвы Голдбука, либо бледными нежными красавчиками, вроде Айка О'Шэя (и притом в костюме), либо запредельными манерными итальянцами эпохи Возрождения, вроде Фрэнсиса ДаПавии (похожего на молодого священника), либо длинноволосыми старперами-анархистами в галстуках-бабочках, вроде Райнольда Какоэтеса, либо толстыми, очкастыми и спокойными растяпами, вроде Уоррена Кафлина. Остальные же, подающие надежды, стояли вокруг в разнообразных прикидах — в вельветовых пиджаках, протертых на локтях, в сбитых башмаках, с книгами, торчавшими из карманов. Джафи один был в грубой рабочей одежде, купленной в магазине

---

[4] Примечания: 4

Гэри Снайдер (род. 8 мая 1930 г.), прототип Джафи Райдера, писал об этом так: «Осенью 1955 года Филип Уэйлен, Джек Керуак, Аллен Гинзберг, Майкл МакКлюэр, Филип Ламантиа и я провели поэтическое чтение в «Галерее Шесть» Сан-Фарнциско. Оно стало катализатором дремавшей творческой энергии Сан-Франциско с ее, в сущности, анархо-пацифистским мировоззрением — и помогло явить взору общественности новое поколение писателей, которое стало известно под именем "бит".»

подержанного платья «Гудвилл»; она служила ему и в горах, и в походах, и чтобы сидеть по ночам у костра, и чтобы ездить стопом взад и вперед по Побережью. На самом деле, в рюкзачке у него была и смешная зеленая альпийская шляпа, которую он надевал, доходя до подножия горы, как правило с йоделом перед тем, как потопать на несколько тысяч футов вверх. На ногах — горные сапоги, дорогие, итальянские, его гордость и радость: в них он громыхал по засыпанному опилками полу бара, как какой-нибудь допотопный дровосек. Джафи не был большим — каких-то пять футов и семь, — но сильным, жилистым, быстрым и мускулистым. Лицо его походило на горестную костяную маску, а глаза поблескивали, как у старых посмеивавшихся китайских мудрецов, поверх этой его бороденки, оттеняя грубость привлекательной физиономии. Его зубы покрывал коричневатый налет — оттого, что в детстве в лесах он за ними не следил, — но в глаза это не бросалось, хоть он и широко раскрывал рот, хохоча над какой-нибудь шуткой. Иногда он затихал и лишь печально и сосредоточенно смотрел в пол, словно человек, изводящийся от забот. Временами бывал весел. Он с большим сочувствием и интересом отнес-

ся ко мне, к истории про маленького бродягу Святой Терезы и к тому, что я рассказывал ему о собственных скитаниях на поездах, стопом или по лесам. Он сразу же заявил, что я — великий «Бодхисаттва», что означает «великое мудрое существо» или «великий мудрый ангел», и что я украшаю своей искренностью этот мир. У нас с ним был одинаковый любимый будиистский святой — Авалокитешвара или, по-японски, Кваннон Одиннадцатиглавый. Он знал всякие подробности Махаяны, Хинаяны, тибетского, китайского, японского и даже бирманского буддизма, но я с самого начала предупредил его, что на мифологию мне совершенно плевать, на все имена и национальные оттенки буддизма — тоже, а интересует меня лишь первая из четырех благородных истин Шакьямуни — «Вся жизнь — страдание». И, до некоторой степени, третья — «Подавления страдания возможно достичь,» — но в то время я еще не вполне верил, что это возможно. (Я еще не переварил Писание Ланкаватары, которое рано или поздно показывает, что в мире нет ничего, кроме самого разума, поэтому возможно всё, включая и подавление страдания.) Корешем Джафи был уже упомянутый добродушный и толстый увалень Уоррен Кафлин, сто

восемьдесят фунтов поэтического мяса, которого Джафи рекламировал (приватно, на ушко) как гораздо большее, чем видно глазу.

— А кто он?

— Он мой лучший дружбан из Орегона, мы уже сто лет с ним знакомы. Сначала ты решишь, что он глуп и неповоротлив, но на самом деле он — сверкающий алмаз. Сам увидишь. Не давай ему себя разделать. У тебя, парень, крыша моментально слетит от его специальных словечек.

— Почему?

— Он великий и таинственный Бодхисаттва, может быть даже — воплощение Асаньи, великого древнего ученого Махаяны.

— А я кто?

— Почем я знаю, может, козел.

— Козел?

— А может, и грязнуля.

— А кто это — Грязнуля?

— Грязнуля — это когда на твоей козлиной морде грязь. Что бы ты сказал, если б у кого-нибудь спросили: «Имеет ли пес природу Будды?» — а тот бы ответил: «Гав!»?

— Я бы сказал, что это дзэн-буддистская фигня. — Джафи слегка отнесло назад. — Слушай, Джафи, — сказал я ему, — я не дзэн-буддист, я се-

рьезный буддист, я старомодный мечтательный хинаянский трус поздней Махаяны… — И так далее, на всю ночь: моя точка зрения заключалась в том, что дзэн-буддизм не столько сосредотачивается на доброте, сколько заморачивает интеллект, чтобы тот воспринял иллюзорность источников всех вещей. — Он подлый, — жаловался я. — Все эти Учителя Дзэна швыряют детишек в грязь, поскольку не могут ответить на их глупые вопросы словами.

— Это потому, что они хотят, чтобы те осознали, что грязь лучше слов, парень. — Но я не могу воссоздать весь (хотя постараюсь) блеск ответов Джафи в точности, всех его острых возражений и словесных приманок, которыми он подкалывал и долбил меня все время, не отпуская, — и в конце концов засунул-таки в мою хрустальную голову что-то, заставившее меня пересмотреть планы на жизнь.

Как бы там ни было, я отправился вслед за всею бандой завывавших поэтов на вечер в «Галерею Шесть», который оказался, помимо всего прочего и не менее важного, еще и рождением Поэтического Ренессанса Сан-Франциско. Там были все. Безумная ночь. А я стал как раз тем, от кого все завертелось, потому что прошел-

ся по довольно чопорной аудитории, собирая гривенники и четвертаки, и вернулся с тремя огромными галлонными пузырями калифорнийского бургундского, и все они так нажрались, что к одиннадцати часам, когда Алва Голдбук читал свою… нет, выл свою поэму «Вой», пьянющий, раскинув руки в стороны, то все вопили: «Давай! Давай! Давай!» (совсем как на джазовом сейшаке), а старый Райнольд Какоэтес, отец фрискинской поэзии, утирал радостные слезы. Сам Джафи читал отличные стихи о Койоте, боге индейцев с североамериканских нагорий (как я думаю), по крайней мере — индейцев Северо-Запада уж точно, квакиутлей и прочих. «Заебитесь! — спел Койот и убежал!» — читал Джафи уважаемой публике, заставляя ее выть от радости, так невинно это было: грязное словцо «заебитесь» выходит таким чистым. У него были и нежные лирические строчки, вроде той про медведей, едящих медвяные ягоды, где видна была его любовь к животным, и великолепные таинственные строки про буйволов на монгольской дороге, где видно было его знание восточной литературы, вплоть до Сюань Цзана, великого китайского монаха, прошедшего из Китая в Тибет, от Ланьчжоу до Кашгара и в Монголию, держа в руке палочку

благовония. Затем Джафи вдруг демонстрировал кабацкий юмор — строчками, где Койот приносит сласти. А его анархистские идеи по части того, что американцы не знают, как жить, — в строчках про то, что горожане пойманы ловушками гостиных, выстроенных из бедных деревьев, сваленных мотопилой (здесь, к тому же, показано его прошлое лесоруба на севере). Голос у него был глубоким, звучным и каким-то храбрым — как голоса американских героев и ораторов прежних лет. Мне нравилось в нем что-то честное, сильное и полное человеческой надежды — в то время, как другие были либо слишком утонченными в собственном эстетстве, либо слишком истерически циничными для того, чтобы на что-то надеяться, либо слишком абстрактными и замкнутыми в себе, либо слишком политичными, либо, как Кафлин, слишком невнятными для понимания (большой Кафлин говорил всякое про «непроясненные процессы», хотя там, гда он на самом деле считал, что откровение — личное дело каждого, я заметил сильное буддистское и идеалистическое ощущение Джафи, которое тот делил с добродушным Кафлином, когда они закорешились в колледже, а я делил с Алвой на Востоке — как и с другими, менее апокалиптич-

ными и более прямыми, но ни в коем случае не более сочувственными и печальными).

Тем временем толпа народу, запрудившая темную галерею, напряженно вслушивалась в каждое слово этого поразительного концерта, а я бродил от одной группы к другой, заглядывая в лица и не глядя на сцену, предлагал всем глотнуть из кувшина, или пробирался обратно и садился на правом краю эстрады, тихо ухая или поддакивая в знак одобрения, даже разражался целыми комментариями, хоть меня никто и не просил — но во всеобщем веселье никто и не порицал. Это была великая ночь. Нежный Фрэнсис ДаПавиа читал по тоненьким желтым или розовым листкам, напоминавшим луковую шелуху, которую он осторожно перебирал длинными бледными пальцами, стихи своего покойного приятеля Альтмана, который съел слишком много пейоты в Чихуахуа (или же умер от полиомелита), но не читал ничего своего — это само по себе очаровательная элегия в память о мертвом молодом поэте, достаточная, чтобы выжать слезу из Сервантеса в главе семь, — к тому же, читал он их нежным, слегка английским голосом, от которого я просто рыдал внутренним смехом, хотя впоследствии хорошо узнал Фрэнсиса, и он

мне понравился.

В толпе стояла Рози Бьюкенен, девчонка с короткой стрижкой, рыжая, худая, приятная, в общем — классная чувиха, всеобщая подруга Пляжа с какими угодно последствиями; она позировала, сама писала и в то время вся просто бурлила от возбуждения, поскольку была влюблена в моего старого кореша Коди.

— Чётко, правда, Рози? — завопил я, и она хорошенько глотнула из моего пузыря, и глаза ее сверкнули мне. Коди стоял тут же, у нее за спиной, обхватив ее за талию. В перерывах Райнольд Какоэтес поднимался в своей бабочке и потертом старом пальто и, представляя следующего чтеца, толкал маленькие смешные речи своим гнусным голоском; но, как я уже сказал, к половине двенадцатого все стихи были прочитаны, и народ лишь толокся по галерее, пытаясь понять, что же произошло, и что будет дальше с американской поэзией вообще, а он все тер и тер глаза платком. Мы подвалили к нему, все поэты, и на нескольких машинах отправились в Чайнатаун на совершенно сказочный обед, прямо из китайского меню, с настоящими палочками, с ором посреди ночи — в один из клевых, свободно свингующих китайских ресторанов Сан-Франциско. Так вышло,

что это оказалось любимое заведение Джафи — «Нам Юэн», — и он показал мне, как следует заказывать, как есть палочками, рассказывал анекдоты про Безумцев Дзэна с Востока и так обрадовал меня (а у нас была бутылка вина на столе), что я в конце концов подошел к старому повару, стоявшему в дверях кухни, и спросил:

— Почему Бодхидхарма пришел с Запада? (А Бодхидхарма был индийцем, который принес буддизм на Восток, в Китай.)

— А мне плевать, — ответил старик-повар, даже не удостоив меня взглядом из-под тяжелых век, и я рассказал об этом Джафи, и тот сказал:

— Совершенный ответ, абсолютно совершенный. Теперь ты знаешь, что я имел в виду под дзэном.

Мне тоже предстояло многому научиться. В особенности — как обращаться с девчонками; то была несравненная манера Безумцев Дзэна, которую мне пришлось непосредственно наблюдать у Джафи на следующей неделе.

3

В Беркли я жил у Алвы Голдбука в его маленьком, увитом розами флигеле на задворках большого дома на Мильвия-стрит. Старое сгнившее крыльцо перекосило к земле и там, среди вьющихся лоз, стояло милое старое кресло-качалка, где я сидел каждое утро и читал свою Алмазную Сутру. По всему двору росли помидоры, уже почти спелые, и мята, одна мята, там все пахло мятой, и еще одно старое клевое дерево, под которым я любил сидеть и медитировать прохладными, изумительными, звездными ночами, в октябре не сравнимыми в Калифорнии ни с чем на свете. У нас была изумительная кухонька с газовой плитой, но без ледника, но это не важно. Еще у нас была изумительвая маленькая ванная с горячей водой, и одна главная комната, сплошь покрытая подушками, соломенными плетеными подстилками и матрасами для спанья, и книгами, книгами, сотнями книг, всем — от Катулла до Паунда, до Блайта, до пластинок Баха и Бетховена (и даже один свинговый альбом Эллы Фитцджеральд с очень интересным Кларком Тер-

ри на трубе), и очень хороший трехскоростной проигрыватель «Уэбкор», который мог орать так громко, что сносило крышу; да и крыша-то — одна фанера, стенки — тоже, одну из которых я как-то ночью во время очередного безумно-дзэнского запоя в восторге пробил кулаком, а Кафлин засек это и дюйма на три просунул в дыру голову.

Примерно и миле оттуда, если идти вниз по Мильвии, а потом — наверх до студгородка Калифорнийского университета, за другим большим домом на тихой улочке (Хиллегасс) жил Джафи — в собственной хижине, которая была бесконечно меньше нашей, примерно двенадцать на двенадцать, и в ней ничего не было, кроме типичных принадлежностей Джафи, что наглядно показывало его веру в простоту монашеской жизни — ни единого стула, даже сентиментального кресла-качалки не было, одни соломенные циновки. В углу стоял его знаменитый рюкзак с начищенными котелками и сковородками — все увязано, компактно входит одно в другое и завернуто в синий платок. Потом его японские деревянные башмаки пата, которые он никогда не надевал, и к ним — пара черных носков, аккуратно разделенных: с одной стороны место для четырех пальцев, с другой — для большого; в них

он тихо бродил по своим циновкам. У него было множество ящиков из-под апельсинов, наполненных прекрасными учеными книгами, некоторые даже — на восточных языках, все великий сутры, комментарии к ним, полное собрание сочинений Д. Т. Судзуки[5] и прекрасный четырехтомник японских хайку. Кроме этого, у него было громадное собрание ценной поэзии вообще. На самом деле, если бы к нему забрался вор, единственной по-настоящему ценной вещью там оказались бы книги. Носил Джафи всякие обноски и старьё, покупаемое в «Гудвилле» и магазинах Армии Спасения с озадаченным и счастливым выражением на лице: штопаные шерстяные носки, линялые майки, джинсы, рабочие рубахи, ботинки-мокассины, несколько свитеров с глухим

[5] Примечания: 5

Дайсэцу Теитаро Судзуки (18.10.1870–12.07.1966) — японский ученый, преподаватель, писатель, в первую очередь известный как популяризатор дзэн-буддизма на Западе. В молодости изучал в Японии английский язык и дзэн, а в 1897 перехал в Америку, где занимался переводами буддистских текстов и писал о буддизме Махаяны. Вернувшись в 1921 году в Японию, Судзуки начал преподавать в буддистском университете Отани (Киото) и там же основал журнал «Восточный Буддист». В тот период им были написаны самые значимые работы по дзэну, подчеркивавшие значение личного опыта в этой религии. С 1950 года до самой своей смерти д-р судзуки много путешествовал, читая лекции в университетах Европы и Америки. Он продолжал писать о дзэне, но увлекся и сравнительным религиоведением, мистицизмом и психоанализом. Среди самых значительных его работ: «Овчерки дзэн-буддизма» в трех томах (1927–1934), «Руководство по дзэн-буддизму» (1935), «Мистицизм христианский и буддистский» (1957), «Дзэн и

японская культура» (1959), «Основы дзэн-буддизма» (1962).

горлом, надеваемых один под другой холодными ночами в Высоких Сьеррах Калифорнии или в Больших Каскадных горах Вашингтона и Орегона во время невероятных долгих прогулок, длившихся иногда неделями и неделями всего лишь с несколькими фунтами сушеной пищи в рюкзаке. Из нескольких апельсиновых ящиков у него был составлен стол, на котором как-то под конец солнечного дня, когда я пришел, дымилась мирная чашка чая, а он склонялся рядом над китайскими иероглифами поэта Хань Шана. Кафлин дал мне адрес, и я приехал к нему и первым делом увидел его велосипед на лужайке перед большим домом (там жила сама его хозяйка), потом — несколько странного вида валунов и камней и смешные деревца, которые он притаскивал из своих горных походов, чтобы рассадить у себя в «японском чайном садике» или в «садике чайного домика», поскольку над его маленьким жилищем шелестела очень удобная сосна.

Когда тем довольно прохладным поздним красным днем я просто открыл его маленькую дверь и заглянул внутрь, то увидел самую мирную сцену в своей жизки: он сидел по-турецки в дальнем углу хижины на пестрой подушке, брошенной на соломенную циновку, с очками на носу, делав-

шими его старым, ученым и мудрым, с книгой на коленях, а рядом — маленький жестяной чайник и дымящаяся фаянсовая чашка. Он весьма мирно оторвался от книги, посмотрел, кто пришел, и произнес:

— Заходи, Рэй, — и снова склонился над рукописью.

— Что делаешь?

— Перевожу великое стихотворение Хань Шана, которое называется «Холодная Гора» и написано тысячу лет назад, причем некоторые строки начертаны на утесах в сотнях миль от каких бы то ни было людей.

— Круто.

— Когда заходишь в этот дом, хоть ты и снимай ботинки, но, смотри, осторожней, чтобы не испортить циновки. — Поэтому я снял свои мягкие синие парусиновые тапки, послушно поставил их у дверей, он кинул мне подушку, и я сел, скрестив ноги, у дощатой стены, а он предложил мне горячего чаю. — Ты когда-нибудь читал Книгу Чая? — спросил он.

— Нет, а что это?

— Это ученый трактат о том, как готовить чай, пользуясь всем двухтысячелетним знанием о заваривании чая. Некоторые описания воздей-

ствия первого глотка, второго и третьего — на самом деле дикие и экстазные.

— Те парни торчали с ничего, а?

— Пей чай и увидишь: это хороший зеленый чай. — Чай действительно был хорош, и я сразу же почувствовал себя спокойно и тепло. — Хочешь, почитаю тебе из этого стихотворения Хань Шана? Давай, вообще расскажу о нем?

— Давай.

— Хань Шан, видишь ли, был китайским ученым, которому надоел город и мир тоже, и он скрылся в горах.

— Слушай, а на тебя похоже.

— Только тогда это действительно можно было сделать. Он поселился в пещерах неподалеку от буддистского монастыря в тяньцзинском районе Тянь-Тай, и единственным другом ему был смешной Безумец Дзэна по имени Ши-те, который подметал монастырь соломенной метлой. Ши-те тоже был поэтом, но почти ничего не записывал. Время от времени Хань Шан спускался с Холодной Горы в своем одеянии из древесной коры, заходил в теплую кухню и ждал, когда ему дадут еды, но никто из монахов не хотел его кормить, поскольку он не желал вступать в орден и трижды в день отзываться на колокол, зовущий к меди-

тации. Видишь, вот почему в некоторых своих высказываниях, типа… слушай, я буду смотреть сюда и читать тебе прямо с китайского. — И я перегнулся ему через плечо и стал смотреть, как он читает эти дикие вороньи следы иероглифов: — «Взбираюсь вверх по тропе на Холодную Гору, тропа на Холодную Гору вьется все дальше и дальше, длинное горло ущелья давится щебнем и валунами, широкий ручей и трава, белесая в тумане, мох скользкий, хотя дождя не было, сосна поет, хотя нет ветра, кто может оторваться от уз мира и присесть со мною средь белых облаков?»

— Ух ты.

— Это, конечно, мой собственный перевод на английский, видишь — на каждую строчку по пять знаков, а мне приходится вставлять западные предлоги, артикли и все такое.

— А чего ты не переводишь так как есть: пять знаков — пять слов? Что это за первые пять знаков?

— Знак «взбираться», знак «вверх», знак «холодный», знак «гора», знак «тропа».

— Ну вот так и переводи: «Карабкаюсь вверх тропою Холодной Горы».

— Ага, а что тогда делать со знаком «длинный», знаком «горловина», знаком «забитый», знаком

«обвал», знаком «валуны»?

— Где это?

— Третья строчка, тогда придется читать: «Длинная горловина забита валунами обвала».

— Да ведь так даже лучше!

— Н-ну да, я об этом тоже думал, но надо будет, чтобы одобрили специалисты по китайскому здесь, в университете, и чтобы по-английски звучало нормально.

— Слушай, какая четкая штука, — я оглядел его маленькую хижину, — и ты тут такой сидишь себе тихо, в этот тихий час, занимаешься совсем один, в очках…

— Рэй, тебе вот что надо — как можно скорее пойти со мною в горы. Хочешь залезть на Маттерхорн?

— Клево! А где это?

— В Высоких Сьеррах. Мы можем поехать туда с Генри Морли на его машине, взять рюкзаки и пойти от озера. Я к себе мог бы сложить всю еду и все, что нам понадобится, а ты попросил бы маленький мешок у Алвы и прихватил сменную обувь, носки и все остальное.

— А это что за иероглифы?

— Здесь написано, что Хань Шан после многих лет, проведенных в скитаниях по Холодной Горе,

спустился повидаться с родней в городе — и говорит: «До недавнего времени я жил на Холодной Горе…» и так далее «…вчера зашел к друзьям и семье, и больше половины их пропало в Желтых Источниках…» это значит «смерть» — Желтые Источники… «А нынче утром я — лицом к лицу с моей одинокой тенью, не могу заниматься — глаза полны слез».

— Это тоже на тебя похоже, Джафи: заниматься с глазами, полными слез.

— Мои глаза вовсе не полны слез!

— А разве так не будет через много, много лет?

— Конечно, будет, Рэй… и еще вот смотри: «В горах холодно, здесь всегда было холодно, не только в этом году,» — видишь, он в натуре высоко, может, двенадцатъ или тринадцать тысяч футов или даже больше, в вышине — и говорит: «Зазубренные обрывы всегда заснежены, леса в темных ущельях изрыгают туман, трава еще только пробивается в конце июня, а листья уже начинают опадать в начале августа, и я вот здесь, летаю высоко как торчок…»

— Как торчок!

— Это мой собственный перевод, на самом деле он говорит: «вот я здесь, высоко, как сенсуалист из города внизу,» — но я это осовременил и обла-

городил.

— Четко. — Я спросил, почему Хань Шан стал для Джафи героем.

— Потому что, — ответил он, — Хань Шан был поэтом, горным человеком, буддистом, преданным принципу медитации на сущности всех вещей, к тому же, кстати, — вегетарианцем, но я еще по этому оттягу не встрял; я прикинул, что, наверное, в этом современном мире быть вегетарианцем — слегка отдает занудством, поскольку все разумные существа едят то, что могут. А он был человеком уединения, который мог отчалить сам по себе и жить чисто и верно самому себе.

— Это тоже звучит совсем как у тебя.

— И как у тебя тоже, Рэй, я ведь не забыл, что ты рассказывал мне, как в лесах там медитировал в Северной Каролине, и всякое такое. — Джафи стал очень печален, тих, я никогда не видел его таким спокойным, меланхоличным, задумчивым, голос его был нежен, словно голос мамы, казалось, он говорит откуда-то издалека с бедным страждущим существом (мною), которому необходимо услышать его призыв, он нисколько не прикидывался, он действительно был немного в трансе.

— Ты сегодня медитировал?

— Ага, я медитирую утром первым делом перед

завтраком и всегда подолгу медитирую днем, если меня не перебивают.

— Кто тебя перебивает?

— Люди. Иногда — Кафлин, а вчера пришел Алва, и Рол Стурласон, и еще ко мне эта девчонка приходит поиграть в ябъюм.

— Ябъюм? Это еще что?

— Ты что — не знаешь про ябъюм, Смит? Потом расскажу. — Казалось, ему было слишком грустно, чтобы говорить сейчас о ябъюме, о котором я узнал две ночи спустя. Мы еще немного поговорили о Хань Шане и стихах на скалах, и когда я уже уходил, пришел его друг Рол Стурласон, высокий светловолосый симпатичный пацан — обсудить их предстоящую поездку в Японию. Этого Рола Стурласона интересовал знаменитый сад камней Рёандзи монастыря Сёкокудзи в Киото, который из себя не представлял ничего, кроме старых валунов, расставленных якобы в соответствии с мистической эстетикой — так, чтобы заставлять тысячи туристов и монахов каждый год совершать туда паломничество лишь для того, чтобы потаращиться на эти валуны в песке и через это обрести спокойствие духа. Я никогда не встречал настолько нелепых, но все же настолько серьезных и искренних людей. И больше ни разу не

видел Рола Стурласона — он вскоре после этого уехал в Японию, но я никогда не забуду, что он сказал про эти валуны в ответ на мой вопрос:

— Ну а кто же расставил их в этом особом порядке, который такой четкий?

— Никто не знает — какой-нибудь монах или монахи, очень давно. Но в расположении камней есть определенная таинственная форма. Только через форму мы можем постичь пустоту. — Он показал мне фотографию этих валунов в песке, хорошо причесанном граблями: они походили на острова в море, как будто у них были глаза (их скаты), и их окружала аккуратно закрытая ширмами строгая монастырская терраса. Потом вытащил схему расстановки камней с проекцией сбоку и объяснил ее геометрическую логику и все такое, роняя фразы, вроде «одинокой индивидуальности», и что камни — это «толчки, вторгающиеся в пространство», и все это означает какие-то дела, связанные с коанами, которые меня интересовали не так сильно, как он сам, и в особенности — как милый добрый Джафи, заваривший нам еще чаю на своем шумном керосиновом примусе и подавший новые чашки почти что с молчаливым церемонным поклоном. Все это довольно сильно отличалось от того поэтического вечера.

4

Но на следующий вечер, уже около полуночи, Кафлин, я и Алва собрались вместе и решили купить большой галлон бургундского и завалить к Джафи.

— Что он сегодня делает? — спросил я.

— О, — сказал Кафлин, — может, занимается, может, трахается — посмотрим. — Мы купили этот пузырь далеко на Шэттак-авеню, приехали к Джафи, и я опять увидел там его жалкий английский велосипед. — Джафи ездит на этом велике целыми днями взад и вперед по Беркли с рюкзачком за спиной, — сказал Кафлин. — Раньше он так разъезжал по Рид-Колледжу в Орегоне. Он там достопримечательностью был. Мы такие винные попойки закатывали, имели девчонок, а в конце прыгали через окна и такие студенческие номера откалывали по всему городу…

— Ну он и чудной, — сказал Алва, прикусив губу в изумлении: он сам проводил тщательное и заинтересованное исследование нашего странного шумно-спокойного друга. Мы снова ввалились в маленькую дверь, Джафи опять оторвался от

изучения своей книги, на сей раз — американской поэзии, и лишь странно культурным тоном вымолвил:

— Ах! — Мы сняли обувь и прошлепали каких-нибудь пять футов по соломе, чтобы сесть с ним рядом, но я замешкался с башмаками, повернулся и издали показал ему пузырь, который держал в руке, а Джафи вдруг взревел: — Ага-а-ааа! — и с того места, где сидел по-турецки, подпрыгнул вверх и перелетел через всю комнату ко мне, приземлившись на ноги в позиции фехтовальщика с кинжалом, откуда-то взявшимся у него в кулаке, слегка коснувшись его кончиком бутылочного стекла с отчетливым «клинк». Это был самый поразительный прыжок, который я видел в своей жизни, если не считать чокнутых акробатов, похожий на прыжок горного козла, чем, как потом выяснилось, он и был. К тому же, Джафи напомнил мне японского самурая: ревущий вопль, прыжок, позиция и эта маска комического гнева — смешная рожа с выпученными глазами, которую он мне состроил. У меня сложилось впечатление, что этим самым он жаловался на наше вторжение, на то, что мы притащили вино, отчего он напьется и не сможет провести свой запланированный вечер за чтением. Однако без

лишней волокиты он сам откупорил бутыль, хорошенько глотнул, и мы все уселись по-турецки и битых четыре часа орали друг другу разные новости — одна из самых веселых ночей у меня, типа такого:

Джафи: Ну, Кафлин, старый пердун, чего поделывал?

Кафлин: Ничего.

Алва: Что это за странные книги у тебя тут? Хм, Паунд, тебе нравится Паунд?

Джафи: Если не считать того, что этот мудила залепил везде японское имя Ли Бо и получилась вся эта известная хренота, то он ничего — на самом деле, он мой любимый поэт.

Рэй: Паунд? У кого это любимый поэт — такой претенциозный псих?

Джафи: Выпей вина, Смит, ты несешь чепуху. Кто у тебя любимый поэт, Алва?

Рэй: А почему никто не спрашивает меня про моего любимого поэта? Я знаю о поэзии больше, чем вы все вместе взятые.

Джафи: Это правда?

Алва: Может быть. Ты разве не видел новую книжку стихов Рэя, которую он только что написал в Мексике? «Колесо подрагивающего мясного зачатья вращается в пустоте, изгоняя нервный

тик, дикобразов, слонов, людей, звездную пыль, дураков, ерунду…»

Рэй: Это все не так!

Джафи: Кстати, о мясе — вы читали новую поэму…

И т. д., и т. п., пока, наконец, это все не распалось на дикий фестиваль болтовни, воплей и в конце концов — песен, и все катались по полу от хохота, и закончилось все тем, что Алва, Кафлин и я, держась за руки, вывалились на тихую университетскую улочку, распевая «Эли, Эли» во всю глотку, уронили пустой пузырь прямо себе под ноги — вдребезги, а Джафи ржал, высовываясь из своей дверцы. Но из-за нас он вечером не позанимался, и мне от этого было нехорошо, пока на следующий вечер он не возник в нашем флигеле с хорошенькой девушкой и, войдя, не приказал ей раздеваться, что та сразу же и сделала.

5

Это соответствовало теориям Джафи о женщинах и любви. Я забыл сказать, что в тот день, когда к нему пришел его художник по валунам, сразу за ним вошла какая-то блондинка в резиновых сапожках и тибетской куртке с деревянными пуговицами и в общем разговоре поинтересовалась насчет наших планов забраться на Маттерхорн, и спросила:

— А мне можно с вами? — поскольку сама была немножко скалолазкой.

— Ка-анешно, — ответил Джафи своим смешным голосом, каким говорил, когда шутил с кем-нибудь: так низко и громко разговаривал какой-то его знакомый лесоруб с Северо-Запада, хотя на самом деле то был объездчик, старина Бёрни Байерс. — Канешно, давай с нами, и мы все тебя трахнем на высоте десять тысяч футов. — И то, как он произнес это, было так смешно и обыденно, а фактически — серьезно, что девушку это нисколько не шокировало, а наоборот как-то обрадовало. В том же самом духе он теперь привел и эту девчонку — Принцессу — к нам во флигель,

было около восьми часов, уже стемнело, мы с Алвой тихонько прихлебывали чай и читали стихи или печатали их на машинке, и тут во двор въезжают два велосипеда: Джафи — на своем, Принцесса — на своем. У Принцессы были серые глаза, желтые волосы, она была очень красивой, и ей было всего лишь двадцать лет. Про нее я должен сказать еще одну вещь: она сходила с ума по сексу и по мужикам, поэтому с тем, чтобы заставить ее поиграть в ябъюм, особых проблем не было.

— Ты разве не знаешь про ябъюм, Смит? — раскатисто осведомился Джафи, вваливаясь внутрь в своих сапожищах и держа Принцессу за руку. — Мы с Принцессой приехали показать тебе, парень.

— Возражений нет, — сказал я, — чем бы оно ни было. — К тому же, я и раньше знал Принцессу, сходил по ней с ума в Городе около года тому назад. Просто еще одно дикое совпадение, что она потом встретила Джафи, влюбилась в него, и притом — до безумия: она сделала бы все, что бы тот ей ни сказал. Всякий раз, когда к нам во флигель заходили люди, я закрывал маленькую лампочку на стене своей красной косынкой и гасил большой свет, чтобы можно было уютно

сидеть в прохладном красноватом сумраке, пить винцо и разговаривать. Я и теперь так сделал и вышел принести из кухни бутылку, а когда вернулся, то не поверил своим глазам: Джафи и Алва раздевались, как попало раскидывая одежду, а Принцесса стояла совершенно обнаженная, ее кожа белела как снег, когда солнце в сумерках окрашивает его красным, в этом красноватом сумраке.

— Вот черт, — вымолвил я.

— Вот что такое ябъюм, Смит, — сказал Джафи, уселся, скрестив ноги, на подушку на полу и подозвал Принцессу, которая подошла и села на него сверху, лицом к нему, положив обе руки ему на шею, и они сидели вот так, некоторое время ничего не говоря. Джафи совершенно не нервничал, не смущался, а просто сидел там в совершенной форме, иного я от него и не ожидал. — Вот так делают в тибетских храмах. Это святая церемония, она проводится перед поющими жрецами. Люди молятся и повторяют «Ом Мани Падме Хум», что означает «Аминь, Гром Небесный В Темной Пустоте». Я — гром небесный, а Принцесса — темная пустота, видишь?

— Но она-то о чем думает? — воскликнул я почти что в отчаяньи: у меня были такие идеали-

стичные устремления к этой девушке в прошлом году, и целыми часами меня мучила совесть, стоит ли мне соблазнять ее, потому что она так молода и все такое прочее.

— О, это так славно, — сказала Принцесса. — Давай, попробуй.

— Но я не умею так сидеть. — Джафи сидел в полной позе лотоса, как она называется, положив обе лодыжки на оба бедра. Алва тоже сидел на матрасе, пытаясь задрать пятки наверх. Наконец, ноги у Джафи заболели, и они с Принцессой просто опрокинулись на матрас, где и Алва, и Джафи начали исследовать территорию. Я все еще не мог в это поверить.

— Снимай все и присоединяйся, Смит! — Но, помимо всего прочего — чувств по части Принцессы, то есть, — я провел целый год в безбрачии, основанном на моем убеждении, что похоть — непосредственная причина рождения, которое — непосредственная причина страдания и смерти, и я на самом деле не врал, когда доходило до того, что я считал похоть оскорбительной и даже жестокой.

«Хорошенькие девушки роют могилы» — такая была у меня поговорка всякий раз, когда случалоеь невольно поворачивать голову вслед

несравненным красоткам индейской Мексики. А отсутствие активной похоти во мне, к тому же, даровало мне новую мирную жизнь, которой я сильно наслаждался. Но вот это уже было чересчур. Я все-таки боялся снять одежду; к тому же, я никогда не любил делать это перед более чем одним человеком, особенно когда рядом были мужчины. Но Джафи не стал орать как идиот по этому поводу и довольно скоро уже ублажал Принцессу, а потом настала очередь Алвы (с его большими серьезными глазами в этом сумрачном свете, а всего минуту назад он читал стихи). Поэтому я сказал:

— Как по части мне начать с ее руки?

— Давай, клево. — Что я и сделал, улегшись на пол прямо в одежде и целуя ей руку, запястье, потом выше, к телу, а она смеялась и почти что плакала от восторга, что все везде ею занимаются. Все мирное безбрачие моего буддизма уходило коту под хвост. — Смит, я не доверяю никакому буддизму, никакой философии или социальной системе, которые отметают секс, — довольно учено изрекал Джафи, уже закончив и усевшись голым, скрестив ноги и сворачивая себе папироску из «Булл Дурэма» (самопальное курево было частью его «упрощенной» жизни). Все заверши-

лось тем, что мы голышом варили себе на кухне веселый кофе, а обнаженная Принцесса лежала на боку прямо на кухонном полу, обхватив колени руками — просто так, лежала просто так, а потом мы с нею залезли вместе в теплую ванну и слышали оттуда, как Алва в другой комнате обсуждает с Джафи дзэнское Безумие Свободной Любви и его оргии.

— Эй, Принцесса, мы будем это делать по вечерам каждый четверг, а? — завопил Джафи. — Это будет регулярная функция.

— Ага, — отозвалась Принцесса из ванны. Говорю вам, она действительно была рада делать все это и сказала мне: — Ты знаешь, я чувствую, будто я — мать всех вещей, и мне нужно заботиться о моих детках.

— Ты же сама такая молоденькая.

— Но я — древняя мать земли. Я Бодхисаттва. — Она была немного поехавшая, но когда я услыхал, как она произнесла «Бодхисаттва», то понял, что она хотела стать Буддистом с большой буквы, как Джафи, а для девушки единственным способом выразить это был именно такой — с традиционными корнями в тибетской буддистской церемонии ябъюм, поэтому все было прекрасно.

Алва был невероятно доволен, был целиком и

полностью за «каждый четверг», да и я теперь — тоже.

— Алва, Принцесса говорит, что она — Бодхисаттва.

— Конечно, Бодхисаттва.

— Она говорит, что она — мать всех нас.

— Женщин-Бодхисаттв в Тибете и некоторых частях Индии, — сказал Джафи, — брали в храмы и иногда в ритуальные пещеры и использовали как святых наложниц, им это засчитывалось в заслуги, и они медитировали. Все — и мужчины, и женщины — медитировали, постились, закатывали себе вот такие праздники, опять начинали есть, пить, разговаривать, бродить по окрестностям, в дождливое время жили в вихарах, а когда было сухо — под открытым небом, и у них не было такого вопроса: что делать с сексом? — что мне всегда и нравилось в восточной религии, и вот что меня всегда прорубало в наших индейцах… Знаете, когда я был пацаном в Орегоне, я совсем не чувствовал себя американцем, со всеми этими пригородными идеалами, подавлением секса и вообще этой тоскливой серой газетной цензурой всех наших подлинных человеческих ценностей, но когда я открыл для себя буддизм и все остальное, я вдруг ощутил, что жил в предыду-

щей жизни бессчетные века назад, а теперь из-за ошибок и грехов в той жизни сброшен в более скорбное царство существования, и моей кармой было родиться в Америке, где никому не в кайф, никто ни во что не верит, а тем паче — в свободу. Вот почему я, к тому же, всегда сочувствовал освободительным движениям, вроде анархизма у нас на Северо-Западе, старым героям «эверетт-ской бойни»[6] и все такое... — Вечер закончился долгим искренним обсуждением всех этих предметов, и Принцесса, в конце концов, оделась, и они с Джафи поехали на велосипедах домой, а мы с Алвой остались сидеть друг напротив друга в красноватом полумраке.

— А знаешь, Рэй, Джафи на самом деле крутой — дичайший, безумнейший, крутейший кошак,

[6] Примечания: 6

Самое кровавое событие в рабочем движении Тихоокеанского Северо-Запада США. 5 ноября 1916 года к причалу городка Эверетт, штат Орегон, из Сиэттла подошел паром «Верона» с примерно 250 членами организации «Индустриальные Рабочие Мира». На берегу их поджидал шериф Доналд МакРэй и около 200 добровольных дружинников. Активное противостояние сознательных рабочих с местной полицией началось здесь 1 мая 1916 года, после успешной забастовки кровельщиков. Шериф неоднократно запрещал агитацию, рабочие митинги и открытие отделения ИРМ в Эверетте, полиция избивала рабочих при разгоне демонстраций. 5 ноября же шериф с дружинниками открыли по парому огонь, пытаясь воспрепятствовать высадке рабочих. При обстреле погибло 7 человек, 50 было ранено, неизвестное количество пропало без вести. По возвращении «Вероны» (и не успевшего подойти к причалам парома «Калиста» с 40 рабочими на борту) в Сиэттл все были арестованы.

которого мы встречали. И я люблю в нем то, что он — действительно герой всего Западного Побережья, ты понял, я уже здесь два года и не встречал еще ни одного, кого стоило бы знать, на самом деле, ни одного с подлинно просветленным разумом, я уже и надежду потерял по части Побережья. Помимо всего, что у него за спиной — восточное образование, Паунд, пейота, видения, горы, бхикку… ух, Джафи Райдер — великий новый герой американской культуры.

— Он безумен, — согласился я. — И еще вещи, которые мне в нем нравятся: его спокойные печальные моменты, когда он много не говорит…

— Да-а, интересно, что с ним станет в конце.

— Я думаю, он кончит как Хань Шан, поселится один в горах, будет писать стихи на стенах утесов или петь их толпам, собирающимся у его

пещеры[7].

— Или, может, поедет в Голливуд и станет кинозвездой, ты знаешь, он как-то сказал про это, он сказал: «Алва, знаешь, я никогда не думал о том, чтобы уйти в кино и стать звездой, я могу сделать все что угодно, я ведь этого еще не пробовал,» — и я ему поверил, он действительно все может. Ты видел, как он Принцессу всю вокруг себя обернул?

— Да, действительно. — А позже той ночью, когда Алва уснул, я сидел под деревом во дворе и смотрел вверх на звезды, или закрывал глаза и медитировал, пытаясь успокоить себя и снова вернуться к себе нормальному.

Алва заснуть так и не смог, тоже вышел, растянулся на травке, глядя в небо, и сказал:

---

[7] Примечания: 7

Предсказание оказалось на удивление верным. Гэри Снайдер с 1959 года жил преимущественно в Японии (поработав в 1957–58 гг. чистильщиком танков на американском танкере и совершив пять рейсов в Персидский залив, Паго-Паго, Самоа и Поццуоли под Неаполем), в 1961–62 гг. Совершал паломничество по ашрамам Индии со своей второй женой, поэтессой Джоанной Кайгер (всего он был женат три раза — на Элисон Гэсс, 1950–1951, Джоанне, 1960–1964, и Маса Уэхаре, 1967, которая родила ему двоих детей). В 1961 году встретился с Далай-Ламой, которого считает своим духовным наставником. В 1964–65 учебном году преподавал на факультете английской филологии в Беркли, и в июле 1965 года даже участвовал в поэтической конференции. В 1966 году вернулся в Японию по стипендии Фонда Боллинген изучать традиционные монашеские методы обучения дзэна Ринцай. Он — автор более десятка поэтических и публицистических книг. Среди его героев — Мао Цзэ-дун, Йитс, Д. Г. Лоуренс и Бешеный Конь. Снайдер в совершe-

стве знает японский язык, бегло читает по-китайски. Любит мужество, многоженство, многомужество, рододендроны и перепелятников, терпеть не может Нью-Йорк, который, по его мнению, давно следовало сровнять с землей и превратить в выгон для бизонов.

— Большие облака пара проходят вверху в темноте, меня это заставляет понять, что мы живем на действительной планете.

— Закрой глаза, и увидишь гораздо больше.

— Ох, я не знаю, что ты имеешь в виду под этим всем! — раздраженно ответил он. Его всегда доставали мои маленькие лекции об исступлении самадхи — это такое состояние, которого достигаешь, когда прекращаешь всё, останавливаешь разум и на самом деле с закрытыми глазами видишь какой-то вечный многогорой некоей электрической Силы, завывающий на месте просто жалких образов и форм предметов, которые, в конце концов, лишь воображаемы. И если вы мне не верите, вернитесь через миллиард лет и попробуйте опровергнуть. Ибо что есть время? — А тебе не кажется, что гораздо интереснее просто быть как Джафи: иметь девчонок, заниматься, оттягиваться и на самом деле что-то делать, а не глупо рассиживать под деревьями?

— Не-а, — ответил я, не кривя душой и зная, что Джафи со мною бы согласился. — Джафи всего лишь развлекает себя в пустоте.

— Не думаю.

— Готов спорить. На следующей неделе я иду с ним в горы, там узнаю и расскажу тебе.

— Ну, — (вздох), — что касается меня, я уж лучше останусь Алвой Голдбуком, и ну его к чертям, все это буддистское дерьмо.

— Ты об этом когда-нибудь пожалеешь. Почему ты никак не поймешь того, что я пытаюсь тебе сказать: тебя дурачат именно твои шесть чувств — заставляют верить в то, что у тебя эти шесть чувств не только есть, но и помогают тебе быть в контакте с действительным внешним миром. Если б не твои глаза, ты бы меня не видел. Если б не твои уши, ты бы не слышал, как пролетает вот этот самолет. Если б не твой нос, ты бы не ощущал, как пахнет полночная мята. Если б не язык, ты бы не смог отличить А от Б. Если б не твое тело, ты бы не почувствовал Принцессу. Здесь нет меня, нет самолета, нет разума, нет Принцессы, нет ничего — да елки же палки, неужели ты хочешь продолжать оставаться в дураках каждую чертову минуту своей жизни?!

— Да, я больше ничего не хочу и благодарю Бога за то, что из ничто получается нечто.

— Ну, тогда у меня для тебя есть новости: все как раз наоборот, это из нечто вышло ничто, и это нечто — Дхармакайя, тело Истинного Значения, а это ничто — вот оно, вся эта галиматья и болтология. Я иду спать.

— Что ж, иногда я вижу проблеск просветленности в том, что ты пытаешься сказать, но поверь мне, я получаю больше сатори от Принцессы, чем от слов.

— Это сатори твоей глупой плоти, развратник.

— Я знаю, что мой искупитель жив.

— Какой искупитель и как жив?

— Ох, давай же закочумаем[8] и будем просто жить!

— Херня, когда я думал так как ты, Алва, я был всего лишь жалким хватом — совсем как ты сейчас. Все, что ты хочешь — это выскочить, трахнуться, побиться, запутаться, состариться, заболеть, чтобы тебя поколотило сансарой, ты, ебаное мясо вечного возвращения, ты, ты же этого заслуживаешь…

— Это некрасиво. Все печальны и все стараются жить с тем, что у них есть. Твой буддизм сделал тебя гадким, Рэй, и ты из-за него даже боишься раздеться ради простой и полезной для здоровья оргии.

— Ну я же разделся в конце, разве нет?

---

[8] Примечания: 8

Русский слэнговый джазовый термин 50-х годов, обозначающий прекращение действия, видимо, является производным от неверно услышанной команды «Cut it out!» («Кончай!»), которой руководители американских джазовых коллективов давали понять увлекшимся солистам, что и другим надо самовыразиться тоже.

— Но ты подходил с таким снобизмом… ох, давай же кончим на этом.

Алва пошел спать, а я сел, закрыл глаза и подумал: «Это мышление прекратилось,» — но поскольку мне пришлось-таки об этом подумать, никакого мышления ее прекратилось, но меня действительно окатило волной радости от знания того, что все эти пертурбации — лишь сон, который уже кончился, и мне не нужно беспокоиться, поскольку я — не «Я», и я молился, чтобы Бог, то есть Татхагата, дал мне достаточно времени, достаточно здравого смысла и силы, чтобы я смог сказать людям то, что знаю (чего сейчас я даже сделать как надо не могу), чтобы и они узнали то, что знаю я, и не отчаивались слишком сильно. Старое дерево молча и задумчиво нависало надо мной, тоже живое. Я слышал, как в садовых сорняках похрапывает мышь. Крыши Беркли выглядели жалким живым мясом, укрывающим скорбящие фантомы от вечности небес, с которой те боялись встретиться. К тому времени, как я отправился спать, меня не захватывала никакая Принцесса, никакое желание никакой Принцессы, ничье неодобрение, и я чувствовал себя радостным и спал хорошо.

6

И вот настало время нашего большого горного похода. Джафи заехал за мной на своем велике в конце дня. Мы вытащили рюкзак Алвы и сложили его в велосипедную корзинку. Я достал носки и свитера. У меня не было лишь походной обуви, и единственное, что подходило, — теннисные тапочки Джафи, старые, но прочные. Мои собственные башмаки были слишком расхлябанными и порваными.

— Может, так даже и лучше, Рэй: в тапочках ногам легко, и ты сможешь прыгать по валунам безо всякого. Мы, конечно, иногда будем меняться обувью, и все будет ништяк.

— А как с едой? Ты что берешь?

— Ну прежде, чем я скажу тебе про еду, Рэ-эй, — (иногда он называл меня по имени, и это всегда звучало печально и протяжно — «Рэ-э-эй», — как будто его беспокоило мое благосостояние) — я беру твой спальник, это не пуховик, как у меня, и, естественно, намного тяжелее, но в одежде и возле хорошего большого костра тебе в нем будет удобно.

— В одежде — да, а зачем костер, сейчас ведь еще октябрь?

— Ага, но там в октябре уже все замерзает, Рэ-эй.

— Ночью?

— Ну да, а днем еще совсем тепло и хорошо. Знаешь, старина Джон Мьюир, бывало, ходил в те горы, куда мы идем, с одной своей старой армейской шинелью и бумажным пакетом сухарей: он спал в шинели, размачивал сухари в воде, когда хотел есть, и бродил вот так вот целыми месяцами, пока не забредал обратно в город.

— Господи Боже мой, это, должно быть, круто!

— Теперь, что касается еды: я сходил на Маркет-стрит, на рынок «Хрустальный Дворец», и купил там моей любимой крупы — булгура, это что-то типа болгарской дробленой пшеницы, я смешаю ее с кусочками бекона, маленькими кубиками такими, и это для нас троих будет прекрасным ужином — для Морли и нас с тобой. Еще я беру чай, под этими холодными звездами всегда хочется хорошую чашку горячего чая. Беру настоящий шоколадный пудинг, не это быстрорастворимое фуфло, а хороший шоколадный пудинг, который доводишь до кипения, помешивая на костре, а потом он остывает в снегу.

— Ого!

— Поэтому вместо рисового, который я беру с собой обычно, на этот раз, я подумал, стоит взять для тебя хороший такой деликатес, Рэ-эй, а еще в булгур я зашвырну всяких сушеных овощей кубиками, я их купил в лыжном магазине. Из этого мы будем готовить себе ужины и завтраки, а чтобы пополнять энергию — вот такой большой мешок орехов с изюмом, а еще один мешок кураги и чернослива укрепит нас еще круче. — И он показал мне этот самый — крохотный — мешочек, куда уложилось все насущное питание для троих взрослых людей на двадцать четыре часа, или даже больше, лазанья по большим высотам. — Когда идешь в горы, главное — брать как можно меньше веса, мешки там тяжелеют.

— Но Боже мой, нам же этого не хватит!

— Хватит, от воды разбухнет.

— А вино берем?

— Нет, оно наверху ни к чему — как только заберешься на верхотуру и устанешь, вмазать и не захочется. — Я этому не поверил, но ничего не сказал. Мы сложили шмутки на велосипед и пошли через весь студгородок пешком, толкая велик по краю тротуара. Стояли прохладные ясные сумерки Тысяча И Одной Ночи, башня

универа с часами чистой черной тенью высилась над кипарисами, эвкалиптами и прочими деревьями, где-то звонили колокола, а воздух похрустывал. — Там будет холодно, — сказал Джафи, но в тот вечер он чувствовал себя прекрасно и рассмеялся, когда я спросил его про следующий четверг с Принцессой: — Знаешь, мы играли в ябъюм еще дважды с того вечера, она приходит ко мне в любую минуту любого дня или ночи и «нет» за ответ не считает. Поэтому я удовлетворяю Бодхисаттву. — И Джафи захотелось рассказать мне обо всем, о своем детстве в Орегоне. — Знаешь, у меня мать, отец и сестра жили настоящей первобытной жизнью на этой бревенчатой ферме, в зимой по утрам, когда холодно, мы все, бывало, раздевались и одевались перед очагом, по-другому нельзя было, поэтому я — не такой, как ты, по части раздевания, в смысле, я не смущаюсь, ничего.

— А чем ты занимался в колледже?

— Летом я постоянно был на государственной пожарной вахте — тебе это тоже надо будет попробовать следующим летом, Смит, — а зимой я много ходил на лыжах, и с довольно приличными результатами. Я там взбирался на несколько достаточно высоких гор, включая один долгий

подъем на Рейнир, почти до самой вершины, где можно оставить свою роспись. И был год, когда я это, наконец, сделал сам. Там ведь только несколько имен написано, и еще я облазил все Каскады — и в сезон, и в межсезонье, я работал там на лесоповале. Смит, я должен рассказать тебе про всю нашу романтику лесоповала на Северо-Западе, поскольку ты постоянно твердишь мне о железных дорогах: ты бы видел узкоколейки наверху, и по утром, когда морозец со снежком, а в животе у тебя блинчики с повидлом и черный кофе — вообще, парень — и ты заносишь свой двойной топор над первым утренним бревном, лучше этого ничего не бывает.

— Это совсем как моя мечта о Великом Северо-Западе. Индейцы-квакиутли, Северо-Западная Конная Полиция…

— А-а, ну так это в Канаде, в Британской Колумбии, я встречал кое-кого из них на просеках. — Мы толкали наш велик дальше, мимо всяческих студенческих притончивов и кафешек, заглянули к Робби — нет ли там кого-нибудь из знакомых. Там был Алва — он подрабатывал помощником официанта на полставки. Мы с Джафи в нашем тряпье выглядели в студгородке довольно диковинно, а Джафи и вообще считался эксцентриком

— обычное дело в колледжах и университетах, когда там появляются настоящие люди, при том, что колледжи — сплошные рассадники безликости среднего класса, которая обычно находит свое совершенное выражение на окраинах городков, в рядах зажиточных домиков с лужайками и телевизорами в каждой гостиной, где все смотрят одно и то же и думают об одном и том же в одно и то же время, а джафи этого мира рыщут в глухомани, чтобы услышать голос, зовущий в этой глухомани, чтобы обрести исступление звезд, открыть темный таинственный секрет происхождения безликой, пресной, обожравшейся цивилизации.

— У всех этих людей, — говорил Джафи, — у всех до единого есть сортиры с белым кафелем, и они кладут в них большие грязные кучи, как медведи в горах, но все это смывается в удобную, постоянно проверяемую канализацию, и об их дерьме больше никто не думает, и никто не представляет себе, что они берут свое начало в говне, накипи и нечистотах моря. Они целями днями моют себе руки сливочным мылом, которое втайне мечтают сожрать прямо в этой своей ванной. — У него был просто миллион идей, в натуре.

Мы добрались до его хижины, когда уже стем-

нело, в воздухе пахло дымом горящего дерева и листвы, всё аккуратно сложили и спустились по улице к Генри Морли, у которого была машина. Генри Морли носил очки и был человеком великой учености, но тоже эксцентриком — еще более ярко выраженным и чрезмерным, чем Джафи; он работал библиотекарем, друзей в колледже у него было немного, но он тоже любил ходить в горы. Его собственный однокомнатный коттедж, тоже на задворках Беркли, был набит книгами по альпинизму, картинками и весь усеян рюкзаками, горными ботинками и лыжами. Я поразился, услышав, как он разговаривает: говорил он в точности как Райнольд Какоэтес, критик, и выяснилось, что они — друзья с давних пор, вместе ходили в горы, и нельзя было сказать, кто на кого влиял — Морли на Какоэтеса или наоборот. Я чувствовал, что основное влияния оказывал Морли — в нем было то же самое ехидство, саркастическая, чрезвычайно остроумная, хорошо выстроенная речь с тысячами образов, типа того, когда мы с Джафи зашли, у него как раз было сборище друзей (странная, какая-то потусторонняя компания, включавшая одного китайца, одного настоящего немца из Германии и несколько других каких-то студентов), и Морли сказал:

— Я беру с собой надувной матрас, вы, парни, можете спать на жесткой холодной земле, если хотите, а у меня будет этот пневматический агрегат, поскольку я все-таки съездил и истратил на него шестнадцать баксов в дебрях окленд-ских военно-морских складов, а потом весь день задавался вопросом, можно ли, присобачив роликовые коньки или присоски, технически называть себя средством передвижения, — или произнес какой-то другой, «мне-непонятный» (то есть, всем вокруг), собственный прикол с тайным смыслом, к которому все равно никто не прислушивался, но он все говорил и говорил, как бы самому себе, и мне он сразу же понравился. Мы только вздохнули, когда увидели количество того барахла, которое он собирался брать с собой в горы: даже консервы, а помимо своего надувного резинового матраса еще и ледоруб, и целую кучу оборудования, которое нам все равно там не понадобится.

— Ты, конечно, можешь прихватить с собой этот топор, Морли, но я не думаю, что он нам пригодится, а консервы — это ж одна вода, тебе придется тащить ее на собственном горбу, неужели ты не понимаешь, что вся вода, которая нам нужна, ждет нас наверху?

— Да я просто подумал, что баночка китайского рагу там будет в самый раз…

— У меня хватит еды на нас всех. Поехали.

Морли еще долго трепался, валандался по комнате, собирая свой неуклюжий вьюк, и вот, наконец, мы попрощались с его друзьями, залезли в маленький английский автомобильчик и около десяти часов стартовали в сторону Трейси и наверх к Бриджпорту, откуда нам предстояло проехать еще восемь миль к началу тропы у озера.

Я сидел сзади, а они разговаривали на переднем сиденье. Морли был, на самом деле, псих; он заехал как-то раз за мной (уже потом) с квартой яичного ликера, рассчитывая на то, что я ее выпью, но я вместо этого заставил его отвезти меня в винную лавку, а все дело было в том, чтобы мы с ним съездили к какой-то девчонке, причем я должен был выступать в роли примирителя: мы подкатили к ее дверям, она открыла, увидела, кто там, и снова захлопнула дверь, а мы поехали домой.

— Что это за дела?

— Долго рассказывать, — туманно ответил Морли, я так и не понял, чего ему было надо. Кроме этого, увидев как-то, что у Алвы во флигеле нет

кровати, он возник однажды, как призрак в дверном проеме, когда мы только-только невинно продирали глаза и варили себе кофе, и подарил нам огромную двуспальную панцирную сетку, с которой после его ухода мы долго сражались, пытаясь засунуть в сарай. То он притаскивал всякие доски, то какие-то невероятные книжные полки, то просто всякую ерунду, а много лет спустя у меня с ним снова были развеселые приключения, когда я приехал к нему в Контра-Косту (в его собственный дом, который он сдавал в аренду) и провел там несколько дней, хоть в это и невозможно поверить, когда он платил мне по два доллара в час за то, что я ведро за ведром таскал жидкую грязь, которую он вручную вычерпывал из своего затопленного погреба, весь черный от этой дряни, как Татарилуак, Повелитель Грязных Жиж Паратиоалауакакского Пролета, и на губах его играла проказливая восторженная улыбка; а потом, возвращаясь через какой-то городишко и захотев вдруг мороженого, мы прошлись по тамошней главной улице (распугав всех на трассе своими ведрами и скребками) с мороженым в руках, сталкиваясь с жителями на узеньких тротуарах, будто пара допотопных комиков немого кино, с известкой и прочим. По любому,

в общем, — крайне странная персона, как ни посмотри, и вот он вел сейчас машину по направлению к Трейси по четырехрядному шоссе с сильным движением, и рот у него не закрывался, на каждое слово Джафи у него находилась дюжина, и происходило это примерно так. Джафи говорил что-нибудь типа:

— Ей-Богу, я в последнее время чувствую в себе какое-то прилежание, на следующей неделе, наверное, возьмусь за орнитологию. — Морли же отвечал:

— Тут любой будет прилежным, когда у него нет девчонки с ривьерским загаром.

Всякий раз говоря что-нибудь, он поворачивался и смотрел на Джафи, произнося все эти блестящие нелепости на полном серьезе; я не врубался, что он за странный ученый, что за тайный лингвистический клоун, на самом деле, под этим небом Калифорнии. Или же Джафи мимоходом вспоминал про спальные мешки, а Морли начинал нести какой-то бред:

— Я стану владельцем бледно-голубого французского спальника — легкого, на гагачьем пуху, классная вещь, они продаются в Ванкувере — для

Дэйзи Мэй[9] в самый раз. Совершенно не для Канады. Все спрашивают, не был ли у нее дедушка путешественником и не повстречал ли эскимоску. Я сам с Северного Полюса.

— О чем это он? — спрашивал с заднего сиденья я, а Джафи отвечал:

— Он просто интересный такой магнитофон.

Я сказал парням, что у меня легкий тромбофлебит — сгустки крови в венах на ногах, — поэтому я побаиваюсь завтрашнего подъема: не потому, что из-за него могу хромать, а потому, что когда я спущусь, он может обостриться. Морли на это сказал:

— А тромбофлебит — это такой особый ритм, когда ссышь? — Или же я говорил что-нибудь про людей с Запада, а он отвечал: — Я сам тупой западник… смотри, что предрассудки сделали с Англией.

— Ты сумасшедший, Морли.

— Не знаю, может и так, но если даже я — сумасшедший, я все равно оставлю хорошенькое завещание. — Потом вдруг он ни с того ни с сего выдавал: — Что ж, я весьма польщен, что иду в горы с двумя поэтами, я и сам собираюсь напи-

---

[9] Примечания: 9

Героиня комикса Эла Кэппа «Малютка Эбнер» (1934–1977), преследовавшая Эбнера много лет и, в конечном итоге, женившая его на себе.

сать книгу, она будет про Рагузу, прибрежный город-государство, республику позднего Средневековья, которая решила классовую проблему, предложила пост секретаря Макиавелли, и целое поколение ее язык служил дипломатическим языком в Леванте. Все из-за напрягов с турками, конечно.

— Конечно, — соглашались мы.

А он вслух спрашивал себя:

— Вы можете гарантировать Рождество с приблизительной точностью всего лишь в восемнадцать миллионов секунд, оставшихся от первоначальной старой красной трубы?

— Конечно, — смеясь, отвечал Джафи.

— Конечно, — повторял Морли, вертя баранку на сгущавшихся виражах, — они садятся в оленьи упряжки специальных междугородных автобусов, чтобы поучаствовать в предварительной Конференции счастья по душам в глуши Сьерры, в десяти тысячах пятиста шестидесяти ярдах от примитивного мотеля. Это новее анализа и обманчиво просто. Если ты посеял билет в оба конца, то можешь стать гномом, одежонка у них миленькая, и ходит слух, что правила приема в

«Эквити»[10] впитают переизбыток, вытекающий из Легиона за непригодностью. Конечно, как бы там ни было, Смит, — (оборачиваясь ко мне на заднее сиденье) — и в нахождении собственного пути обратно в эмоциональную глушь, ты обязательно получишь подарочек от… кого-нибудь. А немножко кленового сиропа не улучшит твоего самочувствия?

— Конечно, Генри.

Такой вот был Морли. Машина тем временем начала где-то взбираться в предгорья, мы въезжали в разнообразные хмурые городки, где останавливались заправиться, там не было никого, кроме местных элвисов пресли в синих джинсах, поджидавших кого-нибудь на дороге, чтобы добить, а у них за спинами внизу — шум горных ручьев и ощущение высоких гор неподалеку. Чистая сладкая ночь — мы, наконец, выехали на настоящую узкую асфальтированную дорогу и устремились прямиком в горы. По сторонам стали появляться высокие сосны и отдельные скалы. Воздух стал резок и превосходен. Наша поездка как раз совпала с открытием сезона, и в баре, где мы остановились выпить,

---

[10] Примечания: 10
Английский профсоюз актеров.

уже сидело множество охотников в красных шапочках и шерстяных рубашках — нагружаясь, они выглядели очень глупо со своими ружьями и патронами, сложенными в машинах; к тому же, они жадно расспрашивали нас, не видали ли мы где-нибудь поблизости оленей. Мы, разумеется, видели оленя сразу перед тем, как приехали в этот бар. Морли вел машину и чесал языком:

— Ну, Райдер, может, ты станешь Альфредом, Лордом Теннисоном нашей маленькой теннисной компании здесь на Побережье, тебя назовут представителем «новой богемы» и станут сравнивать с Рыцарями Круглого Стола минус Амадис Великий и необычайное великолепие маленького мавританского королевства, проданное Эфиопии за семнадцать тысяч верблюдов и шестнадцать сотен пеших солдат, когда Цезарь еще мамкину титьку сосал. — Как вдруг на дороге оказался олень — застыв, он смотрел в наши фары, а потом, прыгнув, скрылся в подлеске у обочины и исчез во внезапно громадном алмазном молчании леса (которое мы услышали, когда Морли заглушил мотор), и раздавалось лишь сбивчивое шарканье его копыт, пока он убегал наверх, в туманы, к убежищу индейца, питающегося одной сырой рыбой. Сейчас уже мы

находились в настоящей стране — Морли сказал, на высоте около трех тысяч футов. Не видя, под собою мы слышали ручьи, холодно шумевщие по холодным камням под светом звезд.

— Эй, олешка, — завопил я вслед животному, — не беспокойся, мы в тебя стрелять не станем. — А теперь в баре, где мы остановились по моему настоянию (- В этой как бы холодной северной горной стране нет ничего лучше для человеческой души в полночь, чем хороший теплый стакан подогретого красного портвейна, тяжелого, словно сиропы Сэра Артура…):

— Ладно, Смит, — сказал Джафи, — но мне кажется, нам не следует пить перед походом.

— Ах, да какого черта?

— Ладно, но посмотри: мы столько денег сэкономили, покупая дешевые концентраты на эти дни, а ты собираешься сразу все пропить.

— Так уж мне на роду написано: быть или богатым, или бедным, в основном же — бедным, истинно бедным. — Мы зашли в бар, оказавшийся этакой таверной, отделанной в стиле горной глубинки, типа швейцарского шале с лосиными головами и нарисованными на перегородках кабинок оленями, а сами люди в баре были живой рекламой охотничьего сезона, хоть все уже

и сильно наклюкались — такая колышащаяся масса теней в тусклом баре, когда мы вошли, заняли три табурета и заказали портвейна. Портвейн был довольно странным заказом посреди охотничьей страны виски, но бармен откопал случайную бутылку «Христианских Братьев» и налил нам две порции в широкие винные стаканы (Морли, на самом деле, оказался трезвенником), и мы с Джафи выпили и хорошенько это дело прочувствовали.

— Ах, — сказал он, разогреваясь от вина и полуночи, — я скоро снова поеду на север повидать мои родные мокрые леса детства, облачные горы, старых горьких друзей-интеллектуалов и старых пьяных друзей-лесорубов, ей-Богу, Рэй, ты не начнешь жить, пока не побываешь там — со мною или без меня. А потом я поеду в Японию и пешком обойду всю эту холмистую страну, находя маленькие древние храмы, спрятанные и позабытые в горах, и старых мудрецов, которым по сто девять лет и которые молятся Кваннону в своих хижинах и так много медитируют, что когда выходят из медитации, то смеются, видя все, что движется. Но это не значит, что я не люблю Америку, клянусь Богом, хоть я и ненавижу этих проклятых охотников — им только и надо,

что нацелить пушку на беззащитное разумное существо и убить его, за каждое разумное или живое существо, которое эти хуилы убьют, они переродятся тысячу раз, чтобы страдать от ужасов сансары, так им и надо.

— Ты слышишь, Морли? Генри, что скажешь, а?

— Мой буддизм — это не больше, чем легкий несчастный интерес к некоторым картинкам, которые они рисовали, хотя я могу сказать, иногда Какоэтес извлекает чокнутую ноту буддизма в своих горных стихах, однако, меня не очень интересует та его часть, которая касается верования. — Фактически же ему все это было до фонаря. — Я нейтрален, — сказал он, заливаясь счастливым смехом с каким-то выражением легкого злорадства, и Джафи завопил:

— Нейтральность — вот это и есть буддизм!

— После этого портвейна ты дашь зарок не пить кефира. Знаешь, я a fortiori[11] разочарован, потому что здесь нет ни вина бенедиктинцев, ни вина траппистов, а есть лишь одни святые воды и спирты «Христианских Братьев». Не то чтобы я был очень несдержан по части пребывания в

---

[11] Примечания: 11
Тем более (лат.)

этом любопытном баре, который выглядит точь-в-точь как пятачок для воспевателей кьярди и буханки хлеба, все эти писатели — сплошные армяне-бакалейщики, неуклюжие протестанты-доброжелатели, устроившие групповую экскурсию в запой, они и хотели бы, да не понимают, как вставлять контрацептив. Что за ослы эти люди, — добавил он с неожиданной прямой откровенностью. — Молоко в этих местах, должно быть, прекрасное, но коров здесь больше, чем людей. Здесь, должно быть, проживает совершенно другая порода англов, меня не шибко греет их внешний вид. Лихачи тут, должно быть делают аж тридцать четыре мили в час. Ну, Джафи, — в заключение сказал он, — если ты когда-нибудь устроишься на официальную работу, я надеюсь, у тебя будет костюмчик от братьев Брукс… надеюсь, ты не кончишь на тусовочных банкетах, где… Эгей! — Это зашли какие-то девчонки. — Молодые охотники… вот, наверное, почему ясельки открыты круглый год.

Но охотникам не понравилось, что мы вот так сидим, сбившись в кучку, и дружелюбно разговариваем тихими голосами на всевозможные личные темы, они влезли к нам, и довольно быстро вокруг всего овального бара начались долгие

смешные разглагольствования по поводу оленей в округе, где лучше лезть в горы, что там делать, а когда они услыхали, что мы приехали сюда вовсе не убивать животных, а просто забраться в горы, то решили, что мы — безнадежные чудаки, и оставили нас в покое. Мы с Джафи выпили по два стакана вина, почувствовали себя прекрасно и вместе с Морли вернулись к машине и поехали дальше, все выше и выше, деревья становились все больше, воздух — все холоднее, все вверх, пока, наконец, не настало почти два часа утра, и они не сказали, что до Бриджпорта еще далеко, до начала тропы — тоже, поэтому нам лучше остановиться и переночевать в спальниках прямо вот в этих лесах.

— Встанем на заре и поедем дальше. А пока поедим нашего доброго черного хлеба с сыром, — сказал Джафи, доставая продукты, которые запихал в мешок в последнюю минуту еще в хижине. — Это будет замечательный завтрак, мы прибережем булгур и остальные припасы для завтрашнего завтрака на высоте десять тысяч футов. — Прекрасно. По-прежнему болтая и так далее, Морли заехал по жестким сосновым иглам немного вглубь, под неохватный покров деревьев природного парка — елей и пондероз, некоторые

были там до ста футов в вышину, — в огромную, тихую, залитую звездным светом рощу с инеем на земле и мертвым молчанием, если не считать случайного потрескивания в зарослях, где, быть может, окаменев при нашем приближении, стоял дикий кролик.

Я вытащил свой спальник, расстелил его, снял башмаки и, когда совсем уже засовывал в него ноги в носках, счастливо вздыхая, радостно оглядываясь вокруг на высокие деревья и размышляя: «Ах, что это будет за ночь настоящего сладкого сна, что за медитации у меня будут посреди этого напряженного молчания Нигде,» — Джафи завопил мне из машины:

— Слушай, похоже мистер Морли забыл свой спальник!

— Какого… ну и что?

Они немножко пообсуждали это, шаря фонариками по морозцу, а потом Джафи подошел ко мне и сказал:

— Тебе придется вылезать оттуда, Смит, у нас теперь только два спальника, их надо расстегнуть, расстелить, чтобы получилось одеяло на троих, черт бы его подрал, ну и холодина же будет.

— Чего? Ведь так будет задувать под задницу!

— Ну Генри ведь не сможет спать в этой ма-

шине, он околеет, там нет печки.

— Но черт возьми, я так хотел покайфовать… — хныкал я, выбираясь наружу, натягивая башмаки, и Джафи довольно скоро уложил спальники на пончо и сам завалился спать, а я вытянул себе место посередине первым, и уже было ниже нуля, а звезды превратились в насмешливые сосульки. Я забрался, лег, а Морли — мне было слышно, как этот маньяк надувает свой дурацкий матрас, чтобы улечься со мною рядом, но как только он это сделал, то немедленно начал ворочаться, колыхаться и вздыхать, и на другой бок, и снова лицом ко мне, и опять на другой бок, и все это под ледяными звездами и всей этой благодатью, а Джафи тем временем храпел, Джафи, который вовсе не подвергался этому безумному ёрзанью. Наконец, выяснилось, что Морли вообще не может уснуть: он встал и ушел в машину, вероятно, поговорить там с самим собой, как это он, псих, привык, и я только успел сомкнуть ненадолго глаза, как через несколько минут он, окоченев, вернулся, залез под спальник, но снова начал ворочаться и даже иногда ругался или вздыхал, и это все продолжалось, кажется, целую вечность, и вот уже я узрел, как Аврора выбеливает восточные кромки Амиды, и довольно скоро нам все равно вставать.

А все этот псих Морли! И то было лишь началом злоключений этого замечательного человека, который, вероятно, был единственным туристом в истории человечества, отправившимся в горы и забывшим свой спальный мешок дома. «Боже! — думал я. — Ну почему он только не забыл вместо этого свой ужасный надувной матрас?»

7

С самого первого мгновения, когда мы встретились с Морли, он не переставал испускать внезапные йоделы соответственно духу нашего предприятия. То был просто протяжный крик «йоделахи-и!» — но раздавался он в самые неподходящие моменты и в самых неподходящих обстоятельствах, например, несколько раз, когда поблизости еще находились его китайские и немецкие друзья, потом — уже в машине, нам в самое ухо, такое громогласное «йоделахи-и!» — потом когда мы выходили из машины к бару: «йоделахи-и!» Теперь же, когда Джафи проснулся, увидел, что уже светает, выскочил из-под спальников, побежал собирать хворост и вот уже задрожал над предварительным костерком, Морли тоже пробудился от своего короткого, нервного предрассветного сна, зевнул и завопил «йоделахи-и!», разнесшееся эхом по дальним долам. Я тоже поднялся; нас сплачивало только это — оставалось лишь скакать и махать руками, как мы с моим грустным бродяжкой в люльке на южном побережье. Но Джафи вскоре подтащил

к костру больше валежника, и пламя с ревом заполыхало, и мы через некоторое время уже грели спины, болтали и орали. Прекрасное утро — красные столбы нетронутого солнечного света пробивались из-за холма и косо падали меж холодных деревьев, как будто в соборе, навстречу солнцу поднималась дымка, а повсюду вокруг — таинственный шум клокочущих ручьев, быть может, уже затянутых корочкой льда в заводях. Замечательная здесь рыбалка. Довольно скоро я уже сам вопил «йоделахи-и!» — но когда Джафи ушел за дровами и пропал на некоторое время из виду, а Морли завопил свое «йоделахи-и!», тот ответил простым «хоо!» и сказал потом, что так в горах кричат индейцы, что гораздо приятнее. Поэтому я вместо этого тоже начал орать «хоо!».

Потом мы залезли в машину и двинули дальше. Поели мы хлеба с сыром. Никакой разницы между Морли сегодняшнего утра и Морли вчерашнего вечера не наблюдалось, если не считать его голоса, когда он трещал и балаболил со своим обычным смешным культурным ехидством, что было довольно мило в этой утренней свежести, — как обычно звучат голоса людей, поднявшихся спозаранку, слегка тоскливо и надтреснуто, в них слышится устремление и готовность к новому

дню. Солнце скоро потеплело. Черный хлеб был отличный, его пекла жена Шона Монахана — того Шона, у которого была избушка в Корте-Мадера, куда мы все смогли однажды приехать и поселиться, не платя ничего и никому. Сыр оказался острым чеддаром. Но это меня не сильно насытило, и когда мы выехали на природу окончательно, и не осталось вокруг больше ни домов, ничего, мне страшно захотелось старого доброго горячего завтрака — как вдруг, переехав ручей по маленькому мостку, мы увидели веселый маленький охотничий домик у дороги под громадными можжевеловыми деревьями, из трубы бурлил дымок, снаружи горели неоновые надписи, а вывеска в окне извещала о блинчиках и горячем кофе.

— Давайте зайдем, ей-Богу, нам нужен настоящий мужской завтрак, если мы собираемся идти весь день.

Против моей идеи никте не возражал, мы вошли, уселись в кабинке, и милая женщина приняла наш заказ с говорливой приветливостью, свойственной людям в глубинке.

— А вы, мальчики, что — охотиться идете сегодня утром?

— Нет, мэм, — ответил Джафи, — мы просто идем на Маттерхорн.

— На Маттерхорн? Да я б туда не пошла, если б мне даже тыщу долларов посулили!

Тем временем я сходил к бревенчатому сортиру на задах и умылся водой из-под крана — восхитительно холодной, от которой защипало все лицо, а когда я отпил немного, желудок мой славно наполнился как будто жидким льдом, и я попил еще. Потрепанные собачки гавкали в червонных лучах солнца, косо пробивавшихся сквозь стофутовые ветви елей и пондероз. Я видел, как вдали поблескивают снежные шапки гор. Одной из них был Маттерхорн. Я зашел внутрь, блинчики уже подоспели — горячие, исходящие паром, — и я полил сиропом три своих кусочка масла, разрезал блинчики и начал есть, прихлебывая горячий кофе. Генри и Джафи занимались тем же — в кои-то веки никаких разговоров. Затем мы запили это все несравненной холодной водой, и тут пришли охотники в своих сапожищах и шерстяных рубахах — но не те ветреные и пьяненькие, а серьезные, готовые снова забуриться в леса после завтрака. Тут же находился бар, но в это утро на алкоголь всем было наплевать.

Мы влезли в машину, переехали еще через один ручей, через луг с несколькими коровами и бревенчатыми хижинами на нем и выехали

на равнину, с которой было ясно видно, как к югу возносится самый ужасный на вид из всех зазубренных пиков, самый высоченный из них — Маттерхорн.

— Вот она, — гордо вымолвил Морли. — Прекрасная гора — правда, она похожа на Альпы? У меня в коллекции есть фотографии заснеженных вершин, вам надо будет как-нибудь посмотреть.

— Мне больше нравятся настоящие, — отозвался Джафи, серьезно глядя на горы, и в этом его отдаленном взгляде, в этом тайном внутреннем вздохе я увидел: он снова дома. Бриджпорт — маленький сонный городок на этой равнине, странно новоанглийский. Два ресторана, две автозаправки, школа — все это по обочинам Шоссе 395, прибегающего в эти края из Бишопа на пути в Карсон-Сити, Невада.

8

Теперь у нас возникла еще одна невероятная задержка, поскольку мистер Морли решил найти в Бриджпорте открытый магазин и купить там себе спальный мешок или хотя бы какое-нибудь полотняное или брезентовое покрытие, чтобы спать на высоте девять тысяч футов, ведь судя по ночи, проведенной на четырех тысячах, там должно быть довольно прохладно. Мы с Джафи все это время ждали его, сидя на уже припекавшем десятичасовом солнышке, на травке школьного двора, наблюдая за случайным и лаконичным движением по совершенно неоживленному шоссе и обсуждая шансы молодого индейца-автостопщика, пытавшегося уехать на север. Мы с теплотой говорили о нем.

— Вот что мне нравится: ездить везде стопом, чувствуя себя абсолютно свободным, хотя ты вообрази только, что ты при этом — индеец. Черт возьми, Смит, пошли поговорим с ним и пожелаем ни пуха ни пера. — Индеец оказался не очень разговорчивым, но дружелюбным, и сказал нам, что по 395-му он продвигается довольно

медленно. Мы пожелали ему удачи. А в этом крохотном городке, между тем, Морли вообще куда-то пропал.

— Что он там делает — поднимает всех лавочников с постели?

Наконец, Морли вернулся и сказал, что ничего нет, и остается только попросить пару одеял в охотничьем домике у озера. Мы сели в машину, проехали несколько сот ярдов назад по шоссе и свернули на юг, в сторону поблескивавших нетронутых снегов высоко в синем воздухе. Мы проехали вдоль берега живописных Озер-Близнецов и подкатили к домику, который оказался большим белым каркасным постоялым двором, Морли зашел туда и уплатил пять долларов за два одеяла на ночь. В дверях стояла женщина, уперев руки в бока; лаяли собаки. Дорога была пыльной — грунтовка, а озеро — небесной чистоты. В нем идеально отражались утесы и предгорья. Но впереди шли ремонтные работы и клубилась желтая пыль: как раз там придется пройти немного по берегу, прежде чем перейти ручей в конце озера и углубиться в заросли, из которых вверх уходит тропа.

Мы поставили машину, вытащили все наши пожитки и разложили их на солнышке. Джафи

уложил мой рюкзак и сказал, что мне придется все это нести, а иначе я могу хоть в озеро прыгать. Он был очень серьезен, чувствуя себя главным, и мне это нравилось больше всего. Потом, с той же самой мальчишеской суровостью, он вышел на дорогу с ледорубом и начертил в пыли большой круг, после чего начал в нем что-то рисовать.

— Что это?

— Я делаю волшебную мандалу, которая не только поможет нам при восхождении, но после того, как я тут еще кое-что нарисую и спою, по ней можно будет предсказывать будущее.

— А что такое мандала?

— Это такие буддистские схемы, всегда в виде круга, наполненного всякими штуками: круг представляет пустоту, а штуки — иллюзию, видишь? Иногда мандалы рисуют у Бодхисаттвы над головой, и по ним можно рассказать его историю. Они происходят из Тибета.

Я уже влез в его теннисные тапочки, а теперь извлек и горную шапочку, которую он мне предоставил — черный французский беретик, который я лихо заломил на голове, вскинул на спину рюкзак и стал совершенно готов к походу. В тапочках и беретике я больше походил на богемного художника, чем на человека, отправляющегося в горы.

На Джафи были его прекрасные сапоги и швейцарская зеленая шапочка с пером, он походил на эльфа — но на такого грубоватого эльфа. Вот я вижу его одного в горах в этом наряде — видение: прозрачное утро в высоких сухих Сьеррах, вдалеке — чистые ели отбрасывают тени на каменные осыпи склонов, еще дальше — заснеженные конусы вершин, ближе — большие лохматые силуэты сосен, и вот он сам — Джафи, в шапочке, с большим рюкзаком за спиной, топает себе, но в левой руке у него, которой он придерживает на груди ремень рюкзака, — цветок; между громоздящимися камнями и валунами растет трава; дальше каменные осыпи шрамами бороздят склоны утра, его глаза сияют от радости, он — в пути, его герои — Джон Мьюир[12] и Хань Шан, Ши-те и Ли Бо,

[12] Примечания: 12

Джон Мьюир (1838–1914) — американский натуралист, англичанин по рождению, который пропагандировал создание национальных парков и заказников.

Джон Берроуз[13], Пол Бэньян[14] и Кропоткин; он — маленький, и когда шагает, из-под рубашки у него проглядывает смешной живот, но не потому что слишком велик, а потому что позвоночник у него немного выгибается, но это возмещается его бодрыми широкими шагами, шагами на самом деле высокого человека (как я обнаружил, идя за ним следом по траве), его грудь — глубока, а плечи — широки.

— Дьявол меня задери, Джафи, сегодня утром я чувствую себя великолепно, — сказал я, когда мы заперли машину и втроем зашагали с рюкзаками по береговой дороге, чуть покачиваясь, занимая всю ее ширину, будто пехотинцы на марше. — Ну не чертовски ли это лучше, чем торчать в «Месте»? Напиваться там таким свежим

---

[13] Примечания: 13

Джон Берроуз (1837–1921) — американский натуралист и писатель, чьи образные эссе завоевали ему широкую популярность кроткого мудреца дикой природы.

[14] Примечания: 14

Персонаж американского фольклора — гигантский лесоруб, совершающий сверхчеловеческие подвиги. Его происхождение прослеживается к устной традиции французских и ирландских лесорубов Канады в XIX веке, хотя большинство историй о нем — произведения литературы XX века. Впервые статья о нем была опубликована в детройтской газете в 1910 году, и вскоре он стал популярным символом американской энергии. Большую лепту в развитие мифа о Бэньяне внес У. Б. Логхед, взявший его рекламным символом миннесотской лесодобывающей компании и придумавший как имя гигантского синего быка Бэньяна (Крошка), так и имена многих персонажей его легендарного

лесоповала.

субботним утром, все муторно и тошнит — а вот они мы какие, шагаем мимо свежего чистого озера, хороший воздух, да Господи, это уже хайку само по себе.

— Сравнения одиозны, Смит, — приплыл ко мне его ответ, цитата из Сервантеса и дзэн-буддистское наблюдение впридачу. — Совершенно никакой разницы — сидишь ли ты в «Месте» или карабкаешься на Маттерхорн, все это одна и та же прежняя пустота, парень. — И я стал об этом размышлять, и понял, что он прав: сравнения действительно одиозны, это все одно и то же, но мне было сейчас по-настоящему кайфово, и еще я вдруг понял вот что: это (невзирая на разбухшие вены на ногах) принесет мне много пользы, отвлечет от пьянства и, может быть, заставит меня проникнуться совершенно новым образом жизни.

— Джафи, я рад, что тебя встретил. Я научусь укладывать рюкзаки, и всему, что надо, тоже научусь, и как прятаться в этих горах, когда устанешь от цивилизации. На самом деле, я очень благодарен, что встретился с тобой.

— Что ж, Смит, я тоже благодарен, что встретился с тобой и научился, как надо писать спонтанно, и все такое.

— А-а, да это пустяки.

— Для меня это — много. Давайте, парни, прибавим шагу, не стоит зря тратить время.

Вскоре мы дошли до клубившийся желтой пыли, где ревели бульдозеры, а здоровые, жирные и потные водители, даже не взглянувшие на нас, материли свою работу и проклинали все на свете. Чтобы они полезли в гору, им пришлось бы заплатить вдвойне, а если учесть, что сегодня суббота, то — в четыре раза больше.

Мы с Джафи посмеялись, подумав об этом. Я чувствовал себя немножко не в своей тарелке в этом глупом беретике, но бульдозеристы и глазом не повели в нашу сторону, и мы скоро оставили их позади и подошли к последнему охотничьему домику у начала тропы. Это была такая бревенчатая изба, стоявшая в самом дальнем углу озера в треугольном распадке между довольно высокими отрогами. Здесь мы остановились передохнуть на ступеньках: мы прошли около четырех миль, но по ровной хорошей дороге, — зашли внутрь и купили конфет, печенья, кока-колы и еще чего-то. Тут вдруг Морли, который всю дорогу далеко не молчал, выглядел очень смешно в своем наряде, с необъятным вьюком за плечами, с надувным матрасом (из которого, конечно, выпустили воз-

дух), без шляпы — в общем, так, как он обычно ходит к себе в библиотеку, но в огромных мешковатых шароварах — этот Морли вдруг вспомнил, что забыл спустить воду из картера.

— Ах, так он забыл спустить воду из картера, — сказал я, заметив их оцепенение и ни фига не смысля в машинах, — а он не забыл спустить мозги из кратера?

— Нет, это значит, что если сегодня ночью подморозит, его чертов радиатор взорвется, и мы не сможем уехать домой, и придется двенадцать миль переть до Бриджпорта, и мы тут конкретно засядем.

— Ну а может, ночью не будет так холодно?

— Рисковать нельзя, — ответил Морли, и к тому времени я уже просто ненавидел его за то, что у него находится столько способов все забывать, портить, беспокоить, откладывать и превращать наш относительно простой поход в бесконечные петли и круги.

— Ну и что ты собираешься делать? Что нам всем делать — идти обратно четыре мили?

— Остается одно: я возвращаюсь один, спускаю воду и иду обратно за вами по тропе, а вечером догоняю вас в лагере.

— Я разожгу большой костер, — сказал Джа-

фи, — ты его увидишь, покричишь, и мы тебя направим.

— Очень просто.

— Но тебе придется побегать, чтобы к вечеру добраться до лагеря.

— Я уже иду.

Но тут мне стало так жалко старого, несчастного, смешного Генри, что я сказал:

— Да ну его к черту, этот картер, если ты с нами сегодня не пойдешь, пошли вместе все равно.

— Слишком дорого встанет, если эта штука сегодня ночью замерзнет, Смит, поэтому мне лучше вернуться. У меня будет множество приятных мыслей — знакомиться с тем, о чем вы вдвоем, вероятно, будете говорить весь день, ах ч-черт, уже пора двигаться. Ни за что не жужжите на пчел, не обижайте дворняжек, а если партия в теннис начнется, и все снимут рубашки, не стройте глазки прожектору, или солнышко пнет попку девчонки обратно к вам, вместе с кошками, ящиками фруктов и апельсинов и со всем остальным. — Или заявил нечто подобное и без дальнейших церемоний зашагал обратно по дороге, лишь слегка махнув нам рукой, бормоча что-то себе под нос, — так, что нам пришлось завопить ему вслед:

— Пока, Генри, давай быстрее. — А он не ответил и только пожал плечами на ходу.

— Знаешь, — сказал я, — думаю, ему без всякой разницы. Он доволен и от того, что бродит и все забывает.

— И похлопывает себя по животу, и видит вещи такими, какие они есть, типа как в «Чжуанцзы». — И мы с Джафи хорошенько посмеялись, глядя вслед покинутому Генри, ковылявшему по той дороге, которую мы только что одолели, одинокому и безумному.

— Ну, пошли, — сказал Джафи. — Когда я устану тащить этот здоровый рюкзак, поменяемся.

— Хоть сейчас. Давай сейчас, мне надо что-нибудь тяжеленькое понести. Ты себе не представляешь, как мне четко, чувак, давай же! — И вот мы махнулись рюкзаками и стартанули.

Мы оба чувствовали себя прекрасно и без конца болтали — о чем угодно, о литературе, о горах, о девчонках, о Принцессе, о поэтах, о Японии, о наших прошлых приключениях в жизни, и я вдруг понял, что это было замаскированным благословением — что Морли забыл спустить воду из картера, иначе Джафи и слова бы не удалось вставить весь этот благословенный день, а так у меня — прекрасная возможность услышать все

его идеи. Тем, как он все делал, ходил в походы, он напоминал мне моего закадычного друга детства Майка, который тоже любил идти впереди, суровый, как Бак Джонс[15], глаза устремлены к дальним горизонтам, как Натти Бампо[16], предупреждая меня о ломающихся ветках или говоря: «Здесь слишком глубоко, давай спустимся ниже и перейдем ручей вон там,» — или: «В этой низинке будет грязь, лучше обойти,» — смертельно серьезный и довольный. Я видел все детство Джафи, проведенное в восточных лесах Орегона, по тому, как он шел впереди. Он шел, как говорил, сзади я видел, как он слегка косолапит — совсем как я; но когда подошло время лезть вверх по склону, он развел носки, как Чаплин, чтобы крепче ступать. Мы пересекли что-то вроде заболоченной речной долинки по густым зарослям, мимо нескольких ив, выбрались на другой стороне, слегка подмочив ноги, и начали подъем по тропе, ясно размеченной и недавно подправленной лесниками, но иногда натыкались на места, где прямо на тропу рушились сверху камни, и Джафи всякий раз не ленился убирать их, говоря при этом:

---

[15] Примечания: 15
Актер, снимавшийся преимущественно в вестернах (1889–1942).

[16] Примечания: 16
Персонаж знаменитых романов Фенимора Купера о Следопыте.

— Я сам чистил тропы, терпеть не могу, когда тропа такая ретивая, Смит. — Мы забирались все выше, и внизу за нами уже завиднелось озеро, как вдруг в его чистом голубом бассейне мы увидели глубокие дыры — там били источники, будто черные колодцы, и видно было, как мечутся стайки рыбешек.

— О, это как раннее утро в Китае, и мне всего пять лет в безначальном времени! — громко пел я, и мне хотелось сесть рядом с тропою, достать свой блокнотик и писать об этом заметки.

— Посмотри вон туда, — пел Джафи, — желтые осины. Сейчас, вот только настроюсь на хайку… «Беседуем о литературной жизни — вдруг желтые осины». — Идя вот здесь, можно было легко постичь совершенство жемчужин хайку, написанных восточными поэтами, которые в горах никогда не напивались, ничего, только шли себе дальше, свежие, как дети, записывая все, что видели, без всяких литературных ухищрений, без причудливости выражения. Взбираясь, мы сочиняли хайку, а тропа вилась все выше по заросшему склону.

— Камни у края утеса, — говорил я, — почему они не катятся вниз?

— Может, это и хайку, а может, и нет, оно

слишком сложное, наверное, — сказал Джафи. — Настоящее хайку должно быть простым, как овсянка и в то же время заставлять тебя видеть подлинное, как самое великое хайку — возможно, величайшее из всех, вот это: «Ласточка прыгает по веранде с мокрыми лапками». Это Шики. Видишь, мокрые отпечатки лапок — как видение у тебя в уме, и все же в нескольких этих словах видишь весь этот дождь, льющий день-деньской, и чуть ли не чувствуешь аромат влажной хвои.

— Давай еще одно.

— Я сейчас придумаю свое, погоди… «Озеро внизу… черные дыры, проделанные колодцами» — нет, черт подери, это не хайку, с хайку никогда нельзя быть слишком осторожным.

— А если сочинять их по-настоящему быстро, вот как идешь, спонтанно?

— Смотри! — возбужденно закричал он. — Горный люпин, смотри, какие нежно-голубые эти цветочки. А вон там калифорнийские красные маки. Весь луг просто усыпан цветом! Наверху, кстати, — настоящие калифорнийские белые сосны, их ты больше нигде не увидишь.

— Как много ты знаешь про птиц, деревья и все остальное…

— Я изучал их всю жизнь. — Потом, тоже еще

на пути вверх, мы немного расслабились, разговор стал смешнее и глупее, и скоро мы дошли до поворота тропы, где была тенистая прогалина, и мощный порожистый поток бился и бурлил на покрытых пеной камнях, скатываясь вниз, а через него был перекинут идеальный мостик — упавшая коряга; мы забрались на нее, улеглись животами вниз и долго пили воду, плескавшую прямо в лица: как будто подставляешь голову под струю с плотины. Я лежал там целую долгую минуту, наслаждаясь внезапной прохладой.

— Это как реклама эля «Рейнир»! — завопил Джафи.

— Давай посидим чуть-чуть и покайфуем.

— Парень, ты не представляешь себе, сколько нам еще топать!

— А я даже не устал!

— Еще устанешь, Тигр.

9

Мы шли дальше, и мне невероятно нравилось, какой у этой тропы бессмертный вид, как уже перевалило заполдень, и как поросший травою склон холма, казалось, весь окутан древней золотой пыльцой, как жучки кувыркаются над камнями, как ветерок вздыхает в мерцающих танцах над нагретыми валунами, и как тропа вдруг заводит в прохладную тень от больших деревьев над головой, и как свет здесь глубже. И нравилось то, как озеро под нами вскоре стало совсем игрушечным, а черные дыры в нем — по-прежнему ясно различимы, и как на него падают гигантские тени облаков, и как петляет трагическая дорога, по которой сейчас возвращается бедолага Морли.

— Ты разглядишь бедного Морла внизу?

Джафи долго всматривался в даль:

— Я вижу облачко пыли: может, это он уже идет обратно. — Мне же казалось, что я вижу древний полдень этой тропы — от камней на лужайках и букетиков люпина до неожиданных возвращений к ревущему потоку с его мостками

из мокрых коряг и подводной зеленью; в моем сердце возникло что-то невыразимо надломленное, будто я уже жил прежде и ходил по этой тропе точно так же с соратником-Бодхисаттвой — но, быть может, то было гораздо более важное паломничество, и мне сейчас очень хотелось лечь у тропы и все хорошенько вспомнить. Вот что с тобою делают леса — они всегда выглядят знакомо, давно утраченно, словно лицо давно умершего родственника, словно старый сон, словно обрывок забытой песни, донесшийся до тебя над водою, а больше всего — словно золотые вечности прошедшего детства или прошедшей зрелости, и вся жизнь, вся смерть, вся боль сердечная, случившиеся миллион лет назад, и облака, проплывающие над головою, кажется, подкрепляют (своею собственной одинокой знакомостью) это чувство. Исступленный восторг даже — вот что я ощущал вместе со вспышками внезапного воспоминания; вспотев и утомившись, я хотел уснуть и видеть сны в траве. Забираясь выше, мы сильнее уставали и теперь, совсем как пара настоящих альпинистов, больше уже не разговаривали, нам не нужно было разговаривать, и мы радовались этому, как фактически заметил Джафи, обернувшись ко мне после получасового

молчания:

— Как раз вот так мне нравится, когда идешь — просто нет нужды разговаривать, как будто мы животные и общаемся при помощи молчаливой телепатии. — Так, забившись в собственные мысли, мы топали дальше, Джафи клоунски переставлял ноги, как я уже говорил, а я подобрал собственный темп — короткие шажки, медленно, терпеливо, все выше в гору со скоростью одна миля в час — так, что я постоянно оставался в тридцати ярдах позади него, и теперь, когда у нас рождались какие-нибудь хайку, приходилось кричать их друг другу туда и обратно. Довольно скоро мы выбрались на верх той части тропы, которая уже и тропой-то не была, ни с чем не сравнимый сонный лужок, где был прекрасный пруд, а за ним — одни валуны и ничего кроме.

— Теперь у нас единственные ориентиры — это утки.

— Что за утки?

— Видишь валуны вон там?

— «Видишь валуны вон там»! Господи ты Боже мой, да я вижу пять миль одних валунов, насыпанных до самой вон той горы!

— Видишь кучку камней возле вон того ближнего валуна под сосной? Это и есть утка, ее

поставили другие туристы — а может, и я сам, еще в пятьдесят четвертом, не помню точно. Отсюда мы пойдем прыгать с камня на камень, и надо будет хорошенько следить за утками и определять, верно ли мы скачем. Хотя мы, конечно, знаем, куда идти — вон до того большого утеса, а там уже — и наше плато.

— Плато? Боже, ты что — хочешь сказать, что это еще не вершина?

— Ну конечно, нет: за утесом будет плато, потом осыпь, потом опять камни, потом мы выйдем к последнему высокогорному озеру, не больше вот этой лужицы, а потом — последний подъем, больше тысячи футов отвесно вверх, парень, на самую вершину мира, откуда видно всю Калифорнию и частично Неваду, и ветер там тебе штаны насквозь продует.

— О-ой… А сколько времени это займет?

— Ну-у, сегодня к вечеру мы можем рассчитывать дойти только до плато и там встать лагерем. Это я только называю его плато, на самом деле это всего лишь такая полка между двумя высотами.

Но эта вершинка и конец тропы были так прекрасны, что я сказал:

— Ты только посмотри… — Сонный лужок, на одном краю — сосны, озерцо, чистый свежий

воздух, полуденные облака, золотисто летящие в небе… — А почему бы вам сегодня не переночевать здесь, я, наверное, никогда в жизни не видал более красивого места?

— А-а, да это ерунда. Нет, здесь, конечно, клево, но завтра утром мы можем проснуться и обнаружить, что у нас на заднем дворе — три дюжины школьных учителей на лошадях, и уже жарят шашлыки. Там, куда мы идем, — зуб даю — не будет ни единого человеческого существа, а если кто-то и придет, то я тогда — признанный конский зад. Ну, может, один альпинист, от силы — двое, но не думаю, что в это время года там кто-нибудь вообще окажется. Видишь ли, снег может выпасть в любую минуту. Если повалит сегодня ночью, то до свиданья, мы с тобой.

— Что ж, до свиданья, Джафи. Но давай хоть отдохнем тут, водички попьем, на красоту эту посмотрим. — Мы устали, и нам было четко. Мы растянулись в траве, отдохнули, обменялись поклажей, и нам снова не терпелось двигаться дальше. Почти сразу же трава кончилась, и начались валуны; мы взобрались на первый, а с него оставалось лишь прыгать и скакать дальше, постепенно забирая выше, выше, пять миль вверх по долине, засыпанной валунами, все круче и

круче, с громаднейшими скалами по сторонам, стенами сходившимися, казалось, к тому самому утесу, куда мы пробирались.

— А что за той скалой?

— Там высокая трава, кустарники, разбросаны валуны, там петляют прекрасные ручейки, в которых льдинки — даже днем, кое-где лежит снег, огромные деревья, а один валун — больше двух домиков Алвы, поставленных один на другой, он наклоняется, и там у нас будет такая впадина, типа пещеры, где мы разложим большой костер, он будет отражать тепло от стенки. А после этого трава и лес заканчиваются. Это будет примерно девять тысяч футов.

В теннисках было невероятно легко скакать с камня на камень, но через некоторое время я заметил, как грациозно это делает Джафи: он мелкими шажочками перепрыгивал по валунам, иногда как бы намеренно танцуя — его ноги скрещивались справа налево и слева направо, и первое время я повторял каждый его шаг, но потом понял, что лучше всего самому спонтанно выбирать свои валуны и выделывать свой рваный танец.

— Секрет такого восхождения, — сказал Джафи, — как дзэн. Не думай. Танцуй себе дальше и

все. Это самая легкая вещь в мире, даже легче, на самом деле, чем ходить по плоской земле — это монотонно. А тут при каждом шаге возникают милые маленькие проблемки, но ты ни разу не сомневаешься и оказываешься на каком-нибудь другом валуне, который выбрал совершенно не понять почему, совсем как в дзэне. — Так оно и было.

Теперь мы много не разговаривали. Мышцы ног у нас уже притомились. Несколько часов — почти что три — мы поднимались по этой длинной, длинной долине. К тому времени день стал постепенно переходить в вечер, свет становился янтарным, на долину сухих валунов опустились тени — однако вместо того, чтобы пугать, они опять сообщали всему какое-то бессмертное чувство. Все утки были выложены очень заметно: становился на верхушку валуна и смотрел вперед, засекал утку (обычно это маленькая пирамидка из двух плоских камней и, может быть, третьего, круглого — сверху, для украшения) и двигался в том направлении. Эти утки выкладывали предыдущие туристы — специально, чтобы предотвратить последующим милю или две блужданий по огромной долине. Наш ревущий поток тем временем оставался все

время рядом — только уже и спокойнее, он сбегал с самого утеса в миле впереди, расплываясь большим черным пятном, хорошо заметным на серой поверхности скалы.

Прыгать с валуна на валун с тяжелой поклажей, ни разу не оступившись, оказалось легче, чем предполагалось: как только попадешь в ритм танца, уже не упадешь. Иногда я оглядывался на долину внизу и поражался тому, как высоко мы забрались, какие горизонты гор распахиваются теперь за нами. Наш прекрасный парк в конце тропы был как крошечный глен в Арденском лесу. Затем склон сделался круче, солнце — краснее, и вскоре я увидел пятачки снега под сенью некоторых скал. Мы добрались до того места, где утес, казалось, совсем нависал над головой. Тут я увидел, как Джафи впереди скинул свой рюкзак, и запрыгал по камням к нему.

— Ну, тут бросаем шмутки и лезем эти несколько сот футов по скале на самый верх, там увидим площадку и найдем нашу стоянку. Я помню, где она. Ты, на самом деле, можешь и здесь посидеть, отдохни или просто побей баклуши, а я тут поброжу, я люблю один лазить.

Ладно. Я сел, сменил мокрые носки и снял влажную от пота майку, потом сложил по-турец-

ки ноги и отдыхал, посвистывая, где-то около получаса — очень приятное занятие, — а Джафи тем временем вернулся и сказал, что нашел стоянку. Я думал, до нее — коротенькая прогулочка, а в действительности мы прыгали по крутым валунам еще почти час, причем некоторые из них приходилось обходить, потом поднялись на уровень плато и там по более-менее ровной траве прошли еще около двух сотен ярдов до того места, где среди сосен высился огромный серый камень. Вот тут-то земля была просто великолепием: на траве лежал снег с подтаявшими прогалинами, болботали ручейки, по обеим сторонам — громадные молчаливые скалы, и дул ветер, и пахло вереском. Мы вброд перешли миленький ручеек глубиной с ладошку — жемчужная, чистая, светлая водичка — и подошли к каменной громаде. Там, где стояли лагерем другие скалолазы, лежали старые обугленные бревна.

— А где тут Маттерхорн?

— Отсюда не видно, но… — Он показал пальцем на верхнюю часть дальнего плато и ущелье с осыпью, изгибавшееся вправо. — …Вон за той лощиной и вверх пару миль или около того, и вон там будет его подножие.

— Ух черт, так это займет у нас еще целый

день!

— Со мною — не займет, Смит.

— Что ж, Райдери, тогда я не против.

— О'кей, Смити, а теперь как по части нам с тобой расслабиться, побалдеть и приготовить какой-никакой ужин, пока ждем старину Морлири?

И вот мы распаковались, все выложили, покурили и отдохнули. Горы теперь приобретали такой розоватый оттенок, в смысле — камни, это все была лишь твердая скала, покрытая атомами пыли, накопившимися здесь с начала начал времени. В действительности, я боялся этих зазубренных чудищ, окружавших нас со всех сторон, да еще нависавших над самой головой:

— Они такие молчаливые!

— Ага, чувак, знаешь, гора для меня — это Будда. Только подумай о терпении, о сотнях тысяч лет, которые она сидит здесь совершенно молча и как бы молится за все живые существа в этом молчании, и только ждет, чтобы мы прекратили свою глупую возню. — Джафи вытащил чай, китайский чай, насыпал немного в жестяной котелок, а тем временем разложил костер, для начала небольшой, солнце нас пока еще освещало, потом загнал покрепче между больших камней

длинную палку, чтобы было на чем подвесить котелок, и скоро вода уже кипела, он налил кипяток в свой чайник, и вскоре мы уже пили чай из жестяных кружек. Я сам принес воды из ручья, холодной и чистой, как снег, как глаза небес за хрустальными веками. Чай этот, следовательно, был самым чистым и утоляющим жажду чаем в моей жизни, его хотелось пить еще и еще, он действительно утолял жажду и горячим омывал все нутро. — Теперь ты понимаешь восточную страсть к чаю, — сказал Джафи. — Помнишь, я рассказывал, в той книге написано, что первый глоток веселит, второй — радует, третий успокаивает, четвертый сводит с ума, пятый повергает в экстаз.

— Совсем как про нас, старик.

Камень, под которым мы разбили лагерь, был просто чудом. Тридцати футов в высоту и тридцати футов в ширину у основания, почти идеальный квадрат, над ним переплетались деревья и свешивали свои ветви к нам. От основания каменная стена изгибалась, образуя углубление, поэтому если хлынет дождь, у нас уже будет частичное прикрытие.

— Как эту громадину сюда занесло?

— Возможно, оставил отступавший ледник.

Видишь снежное поле вон там?

— Ну.

— Это то, что осталось от ледника. Либо так, либо этот камешек грохнулся сюда с невообразимых доисторических высот, которых нам не постичь, — или, может, этот сукин сын приземлился сюда, когда в юрский период весь этот траханый хребет вылез на поверхностъ. Рэй, когда ты вот здесь, наверху, ты ведь не в гостиной в Беркли сидишь. Здесь тебе — и начало, и конец мира. Взгляни на всех этих терпеливых Будд, что смотрят на нас и ничего не говорят.

— А ты сюда ходишь совсем один…

— И на целые недели, как Джон Мьюир, ползаю тут сам по себе, ищу кварцитовые жилы, или собираю букетики цветов и приношу их в лагерь, или просто разгуливаю голышом и пою, и готовлю себе ужин, и смеюсь.

— Джафи, мне следует отдать тебе должное — ты самый счастливый кошак на свете, и самый великий при том, ей-Богу. Я в натуре доволен, что все это узнаю от тебя. В таком месте я сам становлюсь преданным, в смысле, понимаешь, у меня есть молитва — знаешь, какой молитвой я пользуюсь?

— Какой?

— Я сажусь и говорю: перечисляю всех друзей, всех родственников, всех врагов, одного за другим, без всяких обид и благодарностей, без гнева, без ничего, и говорю типа вот так: «Джафи Райдер, равно пустой, равно любимый, равно грядущий Будда», — потом перехожу к сдедующему, скажем: «Дэвид О. Зельцник, равно пустой, равно любимый, равно грядущий Будда,» — хоть я и не беру таких имен, как Дэвид О. Зельцник, я беру только тех, кого знаю, потому что когда произнощу слова «равно грядущий Будда», я хочу думать об их глазах — возьми вот, к примеру, Морли, его голубые глаза за стеклами очков: когда подумаешь «равно грядущий Будда», подумай и об этих глазах — и действительно вдруг увидишь подлинное тонкое спокойствие и истину его грядущей буддовости. Потом подумай о глазах своего врага.

— Это замечательно, Рэй. — И Джафи вытащил свою записную книжку и вписал туда мою молитву, и покачал в изумлении головой: — Это действительно, действительно замечательно. Я научу этой молитве монахов, которых встречу в Японии. У тебя все правильно, Рэй, беда только лишь в том, что ты так и не научился добираться до таких мест, как вот это, ты позволил миру

утопить себя в его навозе, он тебя достал… Хоть я и говорю, что сравнения одиозны, но то, о чем мы сейчас говорим, — истинно.

Он вытащил свой грубый булгур и вывалил в него пару пакетиков сушеных овощей, потом высыпал все в котелок, чтобы сварить вечером. Мы начали прислушиваться, не раздадутся ли йоделы Генри Морли, но все было тихо. Мы уже стали беспокоиться за него.

— Самое неприятное может быть то, черт бы его побрал, что он свалился с камня и сломал себе ногу — там, где ему никто и помочь-то не сможет. Это опасно… Я, правда, и один здесь хожу, но я-то — старый горный козел.

— Есть уже хочется.

— Мне тоже, черт, скорей бы он уже дошел. Давай побродим тут, поедим снега, воды попьем и подождем еще.

Мы так и сделали, обследовали верхнюю часть плоского плато и вернулись. Солнце уже ушло за западную стену долины, темнело, розовело, холодало, по зазубринам поползло больше оттенков лилового. Небо было глубоким. Мы уже начали различать бледные звезды, по крайней мере — одну-две точно. Вдруг услышали дальний крик:

— Йоделахи-и! — и Джафи подпрыгнул, вско-

чил на большой валун и завопил в ответ:

— Хоо! хоо! хоо! — Вернулся наш Йоделахи.

— Он далеко?

— Да Боже мой, судя по звуку — он еще и с места не трогался. Он даже до начала долины с валунами не дошел. До темна он сюда вряд ли доберется.

— Что будем делать?

— Давай выйдем на край утеса, сядем там и будем ему кричать. Возьмем орешков, изюму и пожуем пока. Подождем — может, он не так далеко, как я думаю.

Мы вышли на край, откуда было видно всю долину, и Джафи уселся на камень в полной позе лотоса, вытащил свои деревянные четки и принялся молиться. То есть, он просто держал четки в руках, сложенных ладонями кверху, большие пальцы соприкасались, и смотрел прямо перед собой, не шелохнувшись ни косточкой. Я, как мог, устроился на соседнем камне, мы оба ничего не говорили и медитировали. Только я медитировал с закрытыми глазами. Тишина напряженно ревела. До того места, где мы сидели, звуки ручья — клокотанье и плеск — из-за скал не долетали. Мы слышали еще несколько меланхоличных «йоделахи-и» и отвечали на них, но каждый раз

крики казались все дальше и дальше. Когда я открыл глаза, розовое все больше становилось лиловым. Засверкали звезды. Я провалился в глубокую медитацию, ощутил что горы — это действительно Будды и наши друзья, и испытал жуткое ощущение странности того, что во всей этой долине — только три человека: мистическое число три. Нирманакайя, Самбхогакайя и Дхармакайя. Я молился о безопасности, а фактически — о вечном счастье для бедного Морли. Однажды я открыл глаза и увидел Джафи: тот сидел твердый как камень, и мне захотелось рассмеяться — так смешно он выглядел. Но горы были зело торжественны, таким же мрачным был и Джафи, и, если уж на то пошло, я — тоже, да и сам смех, на самом деле, — вещь серьезная.

Это было прекрасно. Розовый цвет сгинул, скоро все стало лиловым сумраком, и рев тишины был как нахлынувшие алмазные волны, перекатывавшиеся по жидким папертям наших ушей: этого хватало на то, чтобы успокоить человека на тысячу лет. Я молился за Джафи, за его будущую безопасность, за счастье и в конце концов — за то, чтобы он стал Буддой. Все это было совершенно серьезно, все это было совершеннейшей галлюцинацией, совершеннейшим счастьем.

Скалы — это пространство, — думал я, — а пространство — иллюзия. У меня был целый миллион мыслей. У Джафи — тоже. Меня поразило, как он может медитировать с открытыми глазами. А больше всего меня поразило — чисто по-человечески, — что этот невообразимейший паренек, жадно изучавший и восточную поэзию, и антропологию, и орнитологию, и все, что только есть в книжках, бывший крутым маленьким искателем приключений в горах и на лесных тропах, к тому же вытаскивает вдруг из кармана свои жалкие и прекрасные деревянные четки и начинает торжественно молиться совсем как какой-нибудь святой из пустынь древности: как же поразительно видеть это в Америке с ее сталеплавильными заводами и аэродромами. Мир не так уж плох, когда в нем есть такие джафи, — думал я и радовался. Все болящие мышцы, голод в желудке — само по себе достаточно погано, к тому же — тебя окружают темные скалы, и рядом нет никого, кто мог бы успокоить тебя поцелуями и тихими словами; но вот просто сидеть здесь, медитировать и молиться за весь мир с другим серьезным молодым человеком — уже ради этого стоило родиться, чтобы потом умереть, как это и произойдет со всеми нами. Что-то получится

из этого во Млечных Путях вечности, простирающихся перед всеми нашими призрачными непредубежденными взорами, друзья. Мне захотелось рассказать Джафи все, о чем я думал, но я знал, что это не имеет значения; больше того — он все равно и сам все это знал, а молчание — золотая гора.

— Йоделахи-и! — спел Морли, было уже темно, и Джафи произнес:

— Что ж, похоже, он еще далеко. У него хватит ума разбить сегодня внизу собственный лагерь, поэтому пошли готовить ужин.

— О'кей. — И мы для его успокоения еще пару раз поорали «хоо!» и оставили беднягу Морла темной ночи. Мы знали, что ума ему достанет. Так и оказалось: он стал лагерем внизу, завернулся в оба своих одеяла, улегшись на надувной матрас, и проспал всю ночь на той несравненной счастливой лужайке с озерцом и соснами, и рассказал нам об этом на следующее утро, когда, наконец, до нас добрался.

10

Я пошарил вокруг и насобирал маленьких палочек, чтобы разжечь огонь, а потом пошел собирать хворост и закончил тем, что подтаскивал к костру здоровенные валежины, валявшиеся повсюду. Мы раздули такое пламя, что Морли должен был его увидеть за пять миль, вот только сидели мы в глубине плато, и нас от него скрывал утес. Костер испускал мощные заряды жара, которые впитывались в наш камень и отбрасывались им назад с такой силой, что мы сидели там как в парнике, и только кончики носов у нас подмерзали, когда мы высовывали их наружу, чтобы принести дров или воды. Джафи залил булгур в котелке водой и начал варить его, помешивая, а в перерывах смешал составные части шоколадного пудинга и стал кипятить его в отдельном котелке, который вытащил из моего рюкзака. Еще он заварил свежего чаю. Потом достал две пары палочек, и ужин скоро у нас был готов, чему мы повеселились. Это был самый вкусный ужин всех времен. За оранжевым светом нашего костра виднелись громадные системы неисчислимых звезд — и

отдельными огнями, и венериными подвесками, и млечными путями, несоизмеримыми с человеческим пониманием, все — холодные, голубые, серебряные, а наша пища и наш огонь были розовыми и славными. Как и предсказывал Джафи, во мне не было ни капли желания выпить, я совсем об этом забыл, мы забрались слишком высоко, поход — слишком трудный, воздух — слишком резким, его одного хватало, чтобы опьянить тебе пьяный зад. Это был грандиознейший ужин, пищу всегда лучше есть скорбными щепотками с кончиков палочек, не набрасываясь слишком жадно, почему дарвинский закон выживания и применим лучше всего к Китаю: если не знаешь, как пользоваться палочками для еды, а лезешь ими в семейный котел вместе с теми, кто знает, то протянешь ноги. Но все равно в конце я уже помогал себе пальцами.

После ужина Джафи прилежно взялся за чистку котелков проволочной теркой и заставил меня принести воды, что я и сделал, сходив и окунув банку, оставшуюся от наших предшественников, в сияющий звездный бассейн ручья, слепил по дороге снежок, и Джафи вымыл посуду в горячей воде.

— Я вообще-то обычно не мою кастрюли, а про-

сто заворачиваю их в свой синий платок, потому что на самом деле разницы никакой нет… но боюсь, такую уловку не сильно-то оценят в том мыльном доме на Мэдисон-авеню, как их там, эта английская фирма «Урбер и Урбер», ну, я в натуре не я буду, черт бы меня побрал, если сейчас же не достану свою звездную карту и не посмотрю, что за расклад там сегодня ночью. Эту уймищу наверху невозможнее пересчитать, чем твои любимые сурангамные сутрии, парень. — Поэтому он вытащил карту звездного неба, немного ее повертел и изрек: — Сейчас ровно восемь сорок восемь.

— Откуда ты знаешь?

— Сириуса бы не было там, где он есть, если б сейчас не было восемь сорок восемь… Знаешь, что мне в тебе нравится, Рэй? ты открыл мне глаза на подлинный язык этой страны — на язык работяг, железнодорожников, лесорубов. Ты когда-нибудь слышал, как эти парни говорят?

— А то нет. Был у меня один мужик, водила на бензовозе — как-то ночью подобрал меня в Хьюстоне, Техас, сразу после полуночи, когда один пидар, хозяин мотеля, который назывался не как-нибудь, а очень уместно, дорогой ты мой, «Дэнди-Кортс», выставил меня и сказал: если не сможешь уехать, ладно, так уж и быть,

возвращайся и ночуй у меня на полу, — поэтому я часик подождал на пустой дороге, и тут катит этот бензовоз, а за рулем — этот чероки, он сам мне так потом сказал, его звали Джонсон, или Элли Рейнольдс, или еще как-то там; так вот, как он разговаривал, начиная с такой вот речуги: «Ну, малец, я свалил из хижины моей мамашки, не успел ты еще унюхать, чем речка пахнет, и подался на запад, и там на нефтеразработках в Восточном Техасе доездился просто до чертиков,» — со всяческими шуточками и прибауточками, и в такт тому, как говорил, он жал на сцепление, дергал за всякие рычаги, и вся его махина вздрагивала, а он несся по шоссе на семидесяти милях в час, разогнавшись так, как катила его история — великолепно, вот что я называю поэзией.

— Во-во, я о том же. Послушал бы, как разговаривает старина Бёрни Байерс — вот уж говорит так говорит, — у нас в Скагите: вот, Рэй, куда тебе надо приехать.

— Ладно, приеду.

Джафи, стоя на коленях и всматриваясь в свою карту, слегка нагибался вперед, чтобы выглянуть из-под старых суковатых деревьев этой скалистой страны, и был похож со своей бороденкой и всеми делами, и с этой мощной бугристой стеной

позади, на то видение, что было у меня однажды: видение древних китайских Учителей Дзэна где-то в лесной глуши. Он склонялся вперед, стоя на коленях, и смотрел вверх, словно держал в руках святую сутру. Вскоре он сходил к сугробу и возвратился с шоколадным пудингом, который теперь был холоден как лед и абсолютно вкусен — превыше всяческих слов. Мы весь его и слопали.

— Может, надо Морли оставить?

— А-а, он до утра не продержится — растает на солнышке.

Вот пламя перестало реветь, и от костра остались лишь красные угли, но большие — по шести футов в длину, ночь все больше и больше стала накладывать свой кристальный ледяной отпечаток, но с запахом дымящихся бревен это было так же вкусно, как и шоколадный пудинг. Я вышел прогуляться один к мелкому обледенелому ручейку, помедитировал, привалившись спиной к кому земли, а громадные стены гор по обеим сторонам нашей долины стояли молчаливыми массами. Слишком холодно, больше минуты не выдержать. Когда я вернулся, наш оранжевый костерок, отбрасывавший жар на камень, и Джафи, вглядывавшийся в небеса, стоя на коленях, и

все это в десяти тысячах футов над скрежещущей суетой — все это было олицетворением мира и здравого смысла. У Джафи была еще одна сторона, изумлявшая меня: его гигантское и нежное чувство сострадания. Он всегда все отдавал, всегда осуществлял то, что буддисты называют Парамитой Даны, совершенствованием сострадания.

Теперь, когда я вернулся и присел к костру, он сказал:

— Ну, Смит, пора тебе иметь собственные четки, вот, возьми-ка. — И протянул мне коричневые деревянные четки, нанизанные на крепкую бечеву, черную и блестящую, выходившую из крупной бусины на конце красивой петелькой.

— Ой, как же ты можешь отдавать мне такую вещь, они ведь, наверное, из Японии, а?

— У меня еще черные есть. Смит, та молитва, которой ты меня сегодня научил, стоит гораздо больше этих четок, но все равно бери. — Через несколько минут он вычистил остатки шоколадного пудинга из котелка, но позаботился, чтобы мне досталось больше. Потом набросал веток на расчищенное место и расстелил поверх них пончо — но так, чтобы мой спальник оказался ближе к костру, чтобы мне уж точно не замерзнуть. Он никогда не забывал о милосердии. Он

и меня, на самом деле, научил этой своей благотворительности, и через неделю я отдавал ему хорошие новые майки, которые нашел для него в «Гудвилле». Он тут же подарил мне пластиковую коробочку для пищи. Шутки ради я принес ему огромный цветок, который сорвал во дворе у Алвы. На следующий день он торжественно приволок мне букетик цветов, собранный на газонах Беркли. — И тенниски тоже можешь себе оставить, — сказал он. — У меня есть еще одна пара, старее, но пока держатся.

— Ох, ну я же не могу забирать у тебя все вещи.

— Смит, ты не представляешь себе, что это за привилегия — делать подарки другим. — То, как он их делал, было очаровательно: там не было ничего мишурно-новогоднего, все происходило почти что печально, да и подарки его иногда оказывались побитым старьем, но излучали очарование полезности и грусти его дара.

Мы завернулись в свои спальники, стало уже очень холодно, почти одиннадцать часов, и мы еще немного поговорили, пока один из нас просто не перестал отвечать из своих подушек, и скоро уже мы оба спали. Пока он похрапывал, я проснулся и просто лежал на спине, устремив взгляд на звезды, и благодарил Бога, что пошел

сейчас в горы. Ногам моим было лучше, я чувствовал силу во всем теле. Умиравшие поленья потрескивали — будто Джафи замечал что-то по поводу моего счастья. Я взглянул на него: он с головою закутался в свой спальник на гагачьем пуху. Его скрюченная фигурка была единственным, что я мог различить на многие мили тьмы вокруг — тьмы, что была так плотно упакована, и я сосредоточился на желании быть хорошим. Я думал: что за странный человек… Как сказано в Библии: кому ведом дух человека, смотрящего вверх? Этот несчастный пацан — на десять дет моложе меня, при нем я чувствую себя последним дураком, забывая все идеалы и радости, что знал прежде, в последние годы пьянства и разочарования, какое ему дело, денег-то у него все равно нет: ему не нужны деньги, все, что ему нужно, — этот рюкзак, пара целлофановых пакетиков сушеной пищи и хорошая пара обуви; и вот он уже уходит и наслаждается привилегиями миллионера вот в таком вот окружении. Да и вообще — какой подагрик-миллионер заберется на эту скалу? Мы сами на нее лезли весь день. И я пообещал себе, что начну новую жизнь: по всему Западу, по горам Востока, по пустыне я пройду со своим рюкзаком и сделаю это чисто. Я уснул, засунув

нос в спальник, и проснулся где-то на заре, весь продрогнув — холод от земли просочился сквозь пончо и сквозь спальник, и ребра мои ощущали теперь влажность еще влажнее влажности холодной постели. Изо рта у меня шел пар. Я перевернулся на другие ребра и продолжал спать: сны мои были чистыми и холодными, как ледяная вода, счастливые сны, никаких кошмаров.

Когда я проснулся опять, солнечный свет лился девственно оранжевым сквозь ущелья к востоку от нас и сквозь наши душистые сосновые ветви, и я почувствовал себя как мальчишка, которому уже время вставать и идти одеваться и играть весь день, потому что суббота. Джафи уже поднялся, он пел и, стоя на четвереньках, раздувал маленький костерок. Белый иней лежал на земле. Потом Джафи отбежал немного в сторону и завопил «йоделахи-и!» — и ей-Богу, до нас сразу же долетел ответ Морли, ближе, чем вчера вечером.

— Он уже вышел. Просыпайся, Смит, и выпей горячего чаю, тебе полезно! — Я встал, выудил свои тапочки из спальника, где они согревались всю ночь, надел их, натянул берет, подпрыгнул и пробежался взад-вперед по траве. Ручеек весь замерз, кроме самой серединки, где, позвякивая и побулькивая, бежала тоненькая струйка

пузырьков. Я шлепнулся на живот и напился, омочив все лицо. Ничто на свете не сравнится с тем чувством, когда окунаешь лицо в холодную воду утром в горах. Затем я вернулся, и Джафи уже разогревал остатки вчерашнего ужина — они по-прежнему были хороши. Потом мы вышли на утес и покричали «хоо!» Морли, и вдруг увидели его — крохотную фигурку в самом низу каменной долины в двух милях от нас, двигавшуюся как единственное одушевленное создание в неохватной пустоте.

— Эта точечка внизу и есть наш остроумный друг Морли, — сказал Джафи своим смешным раскатистым голосом лесоруба.

Примерно через два часа Морли уже был от нас на расстоянии слышимости и немедленно начал тараторить, преодолевая последние валуны, а мы сидели и ждали его на камне под уже теплым солнышком.

— Дамское Общество Вспомоществования велело мне сходить и узнать у вас, мальчики, не нужно ли приколоть голубые ленточки вам на рубашки, они говорят, что осталось еще очень много розового лимонада, и Лорду Жиропупу уже сильно невтерпеж. Вы думаете, они станут расследовать источник недавних неприятностей на

Ближнем Востоке или научатся, наконец, ценить кофе. Уж лучше бы с парой таких джентльменов от литературы, как вы, они научились прилично себя держать… — И так далее, и тому подобное, безо всяких причин он чесал языком под счастливым голубым утренним небом, скача по камням со слабенькой ухмылкой, немного вспотев от такой долгой работы с утра пораньше.

— Ну, Морли, ты готов лезть на Маттерхорн?

— Я всегда готов, дай только мокрые носки сменю.

11

Около полудня мы вышли, оставив большие рюкзаки в лагере, куда все равно никто не доберется, по крайней мере, до следующего года, и поднялись по долине, засыпанной обвалом, взяв с собой только немного еды и аптечку. Долина оказалась длиннее, чем виделось снизу. Почти мгновенно наступило два часа дня, солнце приобрело такой более поздний, червонный цвет, поднимался ветер, и я уже начал подумывать: ну елки, как же мы полезем вечером на эту гору?

Я задал этот вопрос Джафи, и тот ответил:

— Ты прав, придется поторопиться.

— А может, бросим и пойдем домой?

— Кончай, Тигр, мы взбежим на этот холмик — а там уж и домой можно. — Долина все тянулась, тянулась и тянулась. Наверху крутизна возросла, и я стал побаиваться, как бы не свалиться — камни здесь были меньше, скользко, а лодыжки у меня и так болели от вчерашних упражнений. Морли же все шел и говорил, и я обратил внимание на его грандиозную выносливость. Джафи снял штаны, чтобы совсем походить на индейца,

в смысле — остался совсем голый, в одних плавках, обогнал нас почти на четверть мили, иногда останавливался, чтобы мы смогли его догнать, потом шел дальше — быстро, он хотел забраться на гору сегодня же. Морли шел вторым, весь пути приблизительно в пятидесяти ярдах от меня. Я никуда не спешил. Когда же день стал склоняться к вечеру, я прибавил шагу и решил обогнать Морли и пойти с Джафи. Теперь мы были где-то на высоте одиннадцать тысяч футов, стало холодно, вокруг лежало много снега, а к востоку можно было видеть громадные снежные шапки хребтов и раздолья плоских долин под ними; мы практически были на самой верхушке Калифорнии. В одном месте мне, как и другим, пришлось ползти по узкому карнизу вокруг выступа скалы, и мне стало по-настоящему страшно: падать пришлось бы футов сто — хватит, чтобы свернуть себе шею, а там еще один маленький карниз, на котором можно с минутку попрыгать перед тем, как ухнуть еще на добрую тысячу футов — и прощай. Ветер уже просто пронизывал. Однако весь день — больше, чем какой-либо другой — полнился старыми предчувствиями или воспоминаниями, словно я был здесь прежде, карабкался по этим самым скалам — за чем-то другим, более древним,

более серьезным, более простым. В конце концов, мы добрались до подножия Маттерхорна, где лежало прекраснейшее маленькое озерко, не ведомое взорам большинства людей в этом мире: его видела лишь горстка скалолазов — крошечное озеро на высоте одиннадцать тысяч с чем-то футов, со снегом по краям, с восхитительными цветами и красивой лужайкой, альпийским лужком, ровным и сказочным, на котором я немедленно растянулся, скинув тапочки. Джафи сидел здесь уже полчаса, когда я только дошел, он уже замерз и снова оделся. Морли, улыбаясь, вышел вслед за нами. Мы сидели и смотрели вверх, на неизбежную крутую осыпь последнего склона Маттерхорна.

— Да это совсем немного, справимся! — сказал я, возрадовавшись.

— Нет, Рэй, там больше, чем кажется. Ты понимаешь, что там — тысяча футов?

— Так много?

— Если мы не рванем вверх бегом, то не успеем спуститься в лагерь до темноты и дойдем до машины у домика только к утру, а надо — к полуночи.

— Ф-фу…

— Я устал, — сказал Морли. — Наверное, я и

пытаться не стану.

— Ну правильно, — сказал я. — Весь смысл лазанья по горам для меня — не выпендриваться, что можешь залезть на вершину, а просто выбраться в эту дикую страну вообще.

— Я все равно пойду, — сказал Джафи.

— Если ты пойдешь, то я пойду с тобой.

— Морли?

— У меня ничего не выйдет. Я вас тут подожду. — А этот ветер был сильным, слишком сильным, я почувствовал, что как только мы поднимемся на несколько сот футов по склону, он может помешать нам идти дальше.

Джафи взял пакетик орехов с изюмом и сказал:

— Это будет нашим бензином, парень. Ты готов, Рэй, бежать кросс?

— Готов. Что я скажу мальчишкам в «Месте», если дойду аж досюда и сдамся в последнюю минуту?

— Уже поздно, поэтому давай быстрее. — Джафи зашагал очень быстро, иногда даже пускаясь бегом там, где идти надо было вбок по гребням осыпи. По этим обвалам камней и песка пробиваться было очень трудно, постоянно обрушивались маленькие лавины. Каждые несколько шагов мы, казалось, поднимались выше на ужа-

сающем лифте, и я невольно сглатывал, когда оборачивался и видел, наверное, весь штат Калифорния, распахнувшийся на три стороны под громадными синими небесами с угасающими планетно-космическими облаками и грандиозными панорамами дальних долин и ровных плоскогорий, и, насколько я знал, вся Невада тоже была там. Было просто страшно смотреть вниз и видеть Морли — дремлющее пятнышко, ожидающее нас у озерца. Ох, надо было остаться со стариной Генри, — думал я. Я начал бояться каждого следующего шага — чистый страх большой высоты. Я начал бояться, что меня сдует ветром. Все кошмары, которые когда-либо у меня были по поводу падения с гор и высоких зданий, пронеслись в голове с потрясающей ясностью. К тому же, после каждых двадцати шагов наверх мы оба совершенно выдыхались.

— Это из-за большой высоты, Рэй, — сказал Джафи, переводя рядом со мною дух. — Поешь изюму и орешков, увидишь, как тебя подтолкнет. — И всякий раз нас это так великолепно подталкивало, что мы оба без лишних слов подскакивали и лезли вверх еще на двадцать-тридцать шагов. Потом снова садились, задыхаясь и потея на холодном ветру, на самой вершине мира, шмыгая

носами, как малыши, на исходе субботы заканчивающие свои последние зимние игры. Ветер начал завывать совсем как в кино о Покрове Тибета. Крутизна стала для меня чрезмерной; теперь я вообще боялся оглянуться; я лишь слегка косился через плечо: Морли у крошечного озера уже совсем нельзя было различить. — Шире шаг! — вопил Джафи, опередив меня на сотню футов. — Уже ужасно поздно. — Я бросил взгляд на вершину. Вот же она, мы окажемся на ней через пять минут. — Осталось всего полчаса! — вопил Джафи. Я не мог в это поверить. Через пять минут рассерженного карабканья вверх я упал, а она оставалась все такой же далекой. Вот что мне в ней не нравилось: облака всего мира проносились сквозь нее, словно туман.

— Все равно там ничего видно не будет, — пробормотал я. — Ох, и зачем я в это ввязался? — Джафи уже намного обогнал меня, мне оставил орешки и изюм, он теперь с какой-то одинокой торжественностью решил рваться к вершине, пусть она хоть убьет его. Он больше не садился. Вскоре он опередил меня уже на целое футбольное поле, на сотню ярдов, становясь все меньше. Я оглянулся — это меня и прикончило, как жену Лота. — Здесь слишком высоко!!! — в панике

завопил я Джафи. Он меня не слышал. Я взбежал еще несколько футов наверх и, изможденный, рухнул на брюхо, чуть-чуть соскользнув вниз. — Здесь слишком высоко!!! — Я перепугался не на шутку. Положим, скользить вниз — это-то ладно, но осыпи в любую минуту тоже могут поехать. Проклятый горный козлина Джафи, я видел, как он впереди скачет в туманном воздухе с камня на камень, выше, выше, лишь подметки мелькают. Ну как тягаться с таким маньяком? Но с каким-то чокнутым отчаяньем я все равно лез за ним следом. Наконец, я добрался до чего-то вроде карниза, на котором можно было сидеть ровно, а не цепляться, боясь соскользнуть вниз, и втиснул все свое тело внутрь, чтобы только удержаться там покрепче, чтобы меня не снесло ветром, посмотрел вниз, оглявелся и решил, что с меня довольно. — Я остаюсь здесь!!! — завопил я Джафи.

— Давай, Смит, еще пять минут. Мне осталась всего сотня футов!

— Я остаюсь тут!!! Слишком высоко!!!

Он ничего не ответил и двинулся дальше. Я видел, как он свалился, хватая ртом воздух, поднялся и снова рванул вперед. Я втиснулся еще плотнее вглубь карниза, закрыл глаза и подумал:

ох, что это за жизнь, почему нам вообще нужно рождаться в самом начале, и только так мы можем выложить нашу несчастную нежную плоть перед такими невозможными ужасами, как громадные горы, скалы и пустое пространство; и с ужасом я вспомнил знаменитую дзэнскую поговорку: «Когда дойдешь до вершины, продолжай восхождение». Волосы у меня на голове встали от нее дыбом: то была просто миленькая поэзия, когда мы сидели у Алвы на циновках. Теперь же ее хватало, чтобы сердце мое заколотилось и из него истекла кровь, потому что я вообще родился на свет. Фактически, когда Джафи заберется на этот пик, он и будет продолжать свое восхождение — тем путем, которым дует ветер. Ну а этот старый философ останется вот тут, — и я закрыл глаза. Кроме этого, — думал я, — отдыхай и будь добрым, тебе ничего не нужно доказывать. Внезапно я услышал прерывистый йодел, прозвучавший на ветру со странным музыкальным и мистическим напрягом, поднял кверху взгляд — и там был Джафи, он стоял на вершине Маттерхорна, издавая свой триумфальный клич покорителя горы, Разбивающую Горы Песнь Радости Будды. Это было прекрасно. Смешно это тоже было — здесь, на не такой уж и смешной верхуш-

ке Калифорнии, среди летящих клочьев тумана. Но надо было отдать ему должное — его нутру, выносливости, поту, а теперь — и сумасшедшему человеческому пению: взбитые сливки на верхушке мороженого. У меня не хватило бы сил ответить на его йодел. Он немного побегал там и скрылся из виду — осмотреть какую-то плоскую вершинку (как потом сказал) в нескольких футах к западу, отвесно обрывавшуюся, насколько это меня могло касаться, может быть, аж до самых полов Виргиния-Сити, посыпанных опилками. Это было безумием. Я слышал, как он вопит мне что-то, но я, дрожа, лишь крепче вжимался в свою защитную ямку. Я взглянул вниз, на крошечное озерко, возле которого с травинкой в зубах валялся не спине Морли, и вслух произнес:

— Ну вот вам тут карма этих трех человек: Джафи Райдер залезает-таки на свою триумфальную вершину, мне это почти что удается, но приходится сдаться и съежиться в проклятой норе, а самый ловкий из них всех — этот поэт поэтов, лежит себе вон там, задрав одну ногу на другую и нацелив ее в небеса, жует себе цветочек, как на пляже, водичка журчит, черт бы их побрал, в следующий раз они меня сюда не затащат.

12

Меня вдруг поразила мудрость Морли: с его чертовыми картинками заснеженных Швейцарских Альп, — подумал я.

А потом все вдруг стало как джаз — произошло в какую-то безумную секунду: я посмотрел вверх и увидел, как Джафи сбегает с горы огромными двадцатифутовыми прыжками, бежит, прыгает, приземляется со всего разгона на каблуки, отскакивает футов на пять, бежит — и снова долгий безумный вопль йодела плывет вниз по склонам всего мира, и в этом проблеске я вдруг понял: невозможно упасть с горы, дурень, — и сам, заорав, вскочил и ринулся с горы за ним точно такими же гигантскими фантастическими скачками, и примерно за пять минут, наверное, Джафи Райдер и я (в своих теннисках, вгоняя пятки в песок, в камень, в валуны, мне было уже наплевать, так хотел я убраться оттуда вниз), вопя, прискакали, как горные козлы, или, я бы сказал, как китайские безумцы тысячу лет назад и свалились прямо на голову бедному Морли, медитировавшему у озера: у него волосы дыбом

встали, когда он взглянул наверх, увидел, как мы летим, и глазам своим не поверил. Фактически, я совершил один из своих величайших прыжков и испустил громогласнейший вопль радости, когда прилетел на самый край озерка и, затормозив пятками тапочек в грязи, шлепнулся, обрадованный, на задницу. Джафи уже снимал сапоги и вытряхивал из них песок и гальку. Это было великолепно. Я снял тапочки, высыпал оттуда пару ведер вулканической пыли и сказал:

— Ах, Джафи, ты преподал мне самый последний урок: с горы нельзя упасть.

— Как раз это и имеется в виду, когда говорят: добравшись до вершины, продолжай восхождение, Смит.

— Черт возьми, этот твой последний триумфальный йодел — самое прекрасное, что я слышал в жизни. Жалко, что у меня не было магнитофона записать его.

— Такие вещи — не для того, чтобы их слышали люди внизу, — ответил Джафи смертельно серьезно.

— Ты прав, ей-Богу, все эти оседлые бичи, рассиживающие на подушках, просто не заслуживают того, чтоб услышать клич победы разбивателя гор. Но когда я посмотрел наверх и увидел, как ты

несешься с той горы, я вдруг все понял.

— А-а, сегодня у Смита маленькое сатори, — сказал Морли.

— Что ты тут внизу делал?

— Спал, преимущественно.

— Я, черт побери, до вершины так и не добрался. Сейчас мне стыдно за себя, потому что теперь, когда я знал, как спускаться с горы, я знаю, и как подниматься, и что упасть оттуда я не смогу, но уже слишком поздно.

— Мы вернемся сюда следующим летом, Рэй, и залезем на нее. Ты отдаешь себе отчет, что сегодня первый раз в жизни пошел в горы и оставил далеко позади ветерана Морли?

— Еще бы, — подтвердил Морли. — Как ты думаешь, Джафи, Смиту присвоят титул Тигра за то, что он сегодня сделал?

— Ну конечно, — ответил Джафи, и я на самом деле возгордился. Теперь я — Тигр:

— Черт возьми, да я буду львом, когда мы сюда заберемся в следующий раз.

— Пошли, мужики, теперь нам долго, долго спускаться по этой осыпи к лагерю и по той долине валунов к озеру, и еще по тропе от озера — у-ух, сомневаюсь, что мы успеем до темноты.

— В основном-то все будет нормально. — Мор-

ли показал на лучинку месяца в розовевшем, углублявшемея синем небе. — Он нам посветит.

— Пошли. — Мы поднялись и двинулись обратно. Теперь, когда я огибал тот карниз, что так меня напугал в первый раз, он показался мне сущей забавой: я скакал, прыгал и танцевал по нему, я действительно усвоил, что с горы нельзя упасть. Можно упасть с горы на самом деле или нет, я не знаю, но я понял, что нет. Именно так меня это поразило.

Однако, все равно было радостно спуститься в долину и не видеть больше всего этого открытого небесного пространства под всем абсолютно, и, наконец, когда настало сереющих пять часов, я шел один примерно в сотне ярдов позади парней, пел и думал, идя себе вдоль цепочки черных меток оленьего следа среди камней: не надо думать, смотреть вперед или волноваться — иди себе, опустив глаза к оленьим катышкам, и радуйся жизни. Однажды я взглянул вперед и увидел сумасшедшего Джафи, который смеху ради влез наверх по заснеженному склону и, как на лыжах, съехал до самого дна в своих сапогах, а последние несколько ярдов — и вообще на спине, визжа и радуясь. Мало того, он опять снял штаны и намотал их на шею. Делал он это, как он сказал,

только ради удобства, что так и было на самом деле, поскольку его тут все равно никто увидеть не мог, хоть я и прикинул, что даже когда он ходит в горы с девчонками, ему это без разницы. Я слышал, как Морли говорит ему что-то посреди огромной одинокой долины: даже из-за камней можно было узнать его голос. В конце концов, я начал держаться своего оленьего следа так прилежно, что остался совсем один и шел по гребням и руслам, совершенно потеряв их из виду, хоть и слышал голоса; но я доверял инстинкту моих милых тысячелетних оленей — и не зря: только стало темнеть, как их древний след вывел меня прямо на бережок знакомого мелкого ручейка (где они останавливались на водопой последние пять тысяч лет), а оттуда уже виднелся свет костра Джафи, расцветившего каменную стену оранжевыми и веселыми бликами. Луна в небео была ярка и высока.

— Ну, парни, эта луна спасет наш зад, нам еще спускаться восемь миль.

Мы слегка поели, выпили много чаю и полностью все упаковали. У меня никогда не было более счастливого момента в жизни, чем эта одинокая прогулка по оленьей тропе, и когда мы отправились дальше, взвалив рюкзаки, я обернулся и в

последний раз посмотрел в ту сторону — было уже темно, — надеясь увидеть хоть нескольких олешек, но никого там не было, и я возблагодарил все, что оставалось в той стороне. Так бывает, когда ты — совсем мальчишка и весь день бродил по лесам и полям, и, возвращаясь в сумерках домой, идешь, уставившись в землю, еле волоча ноги, задумавшись, посвистывая: так должны были себя чувствовать мальчишки-индейцы, когда едва поспевали за своими отцами, стремительно шагавшими с Русской Реки к Шасте двести лет назад, как маленькие арабы, шедшие по следу своих отцов; это напевное радостное одиночество, шмыгаешь носом, как будто маленькая девочка тянет братишку домой на санках, и оба они поют маленькие, тут же придуманные песенки и корчат рожицы, уставившись себе под ноги — идут сами собой, пока не нужно входить в кухню и подтягиваться, вступая в мир серьезности. Но все же что может быть серьезнее, чем идти по следу оленей к водопою? — думал я. Мы добрались до утеса и стали спускаться по долине валунов; под ясным светом луны теперь было легко танцевать с камня на камень — валуны стали белоснежными, с мазками глубоких черных теней. В лунном свете все было чисто и бело прекрасным. Иногда

серебром вспыхивал ручей. Далеко внизу виднелись сосны по краям луговины и блеск озера.

В этом месте ноги мои отказались идти. Я окликнул Джафи и стал извиняться. Я больше не мог сделать ни одного прыжка. Волдыри вспухли не только на ступнях, но и по бокам — весь вчерашний день и сегодня их ничего не защищало. Джафи поэтому разулся и мы поменялись обувью.

Я знал, что в этих большущих, легких и закрытых сапогах дойду нормально. Великолепное новое ощущение: прыгать с камня на камень, не чувствуя боли сквозь тонкие тапочки. С другой стороны, для Джафи тоже было облегчением вдруг ощутить легкость в ногах — и ему было в кайф. Вниз по долине мы неслись чуть ли не бегом. Но каждый шаг уже пригибал нас к земле — мы все по-настоящему устали. С поклажей на горбах сложно контролировать мышцы ног, которые нужны, чтобы спускаться с горы — а это делать зачастую труднее, чем подниматься. К тому же, нужно было переваливать через огромные валуны, потому что иногда мы некоторое время шли по песку, и дорогу нам преграждали эти глыбы, и приходилось на них забираться и прыгать с одной на другую, а потом валуны вдруг

заканчивались, и снова надо было соскакивать прямо в песок. Потом мы застряли в непроходимых зарослях, их надо было либо огибать, либо продираться напролом, и я иногда застревал в этих кустах со своим рюкзаком, стоял и матерился в невозможном свете луны. Мы уже не переговаривались. Я, к тому же, злился, поскольку Джафи и Морли боялись остановиться и отдохнуть: они говорили, что именно сейчас отдыхать опасно.

— Какая разница? Луна светит, мы даже поспать можем.

— Нет, за ночь надо дойти до машины.

— Ну давайте хоть на минутку остановимся. У меня ноги не выдержат.

— Ладно, на минутку.

Но их передышек никогда мне не хватало, и мне казалось, что они паникуют напрасно. Я даже начал их материть, а однажды наорал на Джафи:

— Какой смысл гнобить себя вот так вот, это ты называешь оттягом? Фуй!.. (А идеи твои — херня, — добавил я про себя.) — Легкая усталость многое меняет. Целые вечности залитых лунным светом скал, зарослей, валунов, уток, и эта кошмарная долина меж двух отвесных стен, и мне, наконец, показалось, что мы уже выбрались из нее — но нет, не совсем, а мои ноги вопят, чтобы

я остановился, и я матерюсь и проламываюсь сквозь веточки, и бросаюсь наземь — хоть чуть-чуть отдохнуть.

— Давай, Рэй, все подходит к концу. — Фактически, сейчас я осознал, что у меня нет мужества, я и так это давно знал. Но у меня есть радость. Когда мы выбрались на альпийский лужок, я растянулся на животе, пил воду и мирно наслаждался в тишине, пока они разговаривали, беспокоясь, что мы не успеем вовремя пройти остаток тропы.

— Ах, да не волнуйтесь вы, такая прекрасная ночь, вы слишком круто себя гоните. Попейте водички, прилягте тут на пять — даже на десять — минуток, и все само уладится. — Теперь уже я был философом. Джафи в самом деле согласился со мной, и мы мирно отдохнули. Этот хороший долгий привал успокоил мои кости: я смогу спокойно дойти до озера. Спускаться по тропе было прекрасно. Лунный свет пробивался сквозь густые кроны и испещрял спины Морли и Джафи, шедших впереди. Со всей нашей поклажей мы подобрали хороший темп ходьбы, и было славно приговаривать «хоп, хоп», когда мы уже вышли на серпантин и петляли по нему, все ниже и ниже — приятная, свингующая, ритмичная тропа вниз. А этот ревущий ручей в лунном свете был так

красив — эти вспышки летящей лунной воды, эта снежнобелая пена, эти чернеющие деревья, настоящий эльфийский рай теней и луны. Воздух теплел, милел, и мне на самом деле почудилось, что снова начинает пахнуть людьми. Вокруг уже витал славный неряшливый запах озерного прилива, цветов, мягкой пыли внизу. Вверху все пахло льдом, снегом и бессердечными скалистыми хребтами. Здесь же обитал аромат нагретого солнцем дерева, солнечной пыли, покоящейся под луной, озерного ила, цветов, соломы, всего хорошего на земле. Тропа клево спускалась, и все же в одном месте я почувствовал такую же усталость, как и наверху, в той бесконечной долине валунов, но теперь уже внизу виднелся охотничий домик, славная светящаяся лампадка, поэтому было уже все равно. Морли и Джафи болтали, не переставая, и нам оставалось лишь скатываться дальше, к машине. И в самом деле, внезапно, как в счастливом сне — с такой внезапностью просыпаешься от нескончаемого кошмара, всё вдруг позади, — мы уже шагали через дорогу, там были дома, под деревьями стояли машины, и машина Морли тоже стояла там.

— Насколько я могу судить по этому воздуху, — сказал Морли, привалившись к машине, пока

мы скидывали мешки на землю, — прошлой ночью вообще мороза не было, и я возвращался и спускал воду напрасно… А может, и был мороз, — прибавил он, сходил в домик за машинным маслом, и там ему сказали, что мороза не было совершенно никакого, и вообще прошлая ночь была одной из самых теплых в этом году.

— Все эти безумные хлопоты — и ради чего? — сказал я. Но нам уже было плевать. Мы изголодались. Я сказал: — Поехали в Бриджпорт, зайдем в кафешку, парни, и поедим гамбургеров и картошки с горячим кофе. — Мы тронулись по береговой грунтовке в лунном свете, притормозили у постоялого двора, где Морли вернул одеяла, и поехали дальше, в городок, и там остановились на обочине шоссе. Бедный Джафи — тут-то я, в конце концов, и обнаружил его ахиллесову пяту. Этот крутой паренек, который не боялся ничего и мог неделями один скитаться по горам, сбегать вниз с вершин — боялся зайти в ресторан, поскольку люди внутри слишком хорошо одеты. Мы с Морли расхохотались и сказали:

— Какая разница? Просто зайдем и поедим. — Но Джафи счел место, которая я выбрал, слишком буржуазным и настоял на том, чтобы зайти в более пролетарскую столовку через дорогу. То

оказалась расхлябанная забегаловка с ленивыми официантками, заставившими нас сидеть там целых пять минут и не удосужившимися принести даже меню. Я рассвирепел и сказал:

— Пошли в то первое место. Чего ты боишься, Джафи, тебе-то какая разница? Может, ты и дока по части гор, но я-то уж знаю, где можно поесть. — На самом деле, мы немного подпортили друг другу настроение, и мне поэтому было не по себе. Но он согласился перейти в другой ресторан — повыше классом, с баром по одну сторону, там под притушенными огнями пило много охотников, а сам ресторан был одной длинной стойкой и множеством столиков, за которыми целые веселые семейства пировали, выбирая блюда из солидного меню. Выбор был огромен и хорош: горная форель и все дела. Джафи, как я выяснял, к тому же боялся потратить лишних десять центов на хороший обод. Я сходил к бару, купил стакан портвейна и принес его к нашим местам у стойки (Джафи: — Ты уверен, что можешь себе это позволить?), и немного поприкалывался над Джафи. Он уже чувствовал себя лучше.

— Вот в чем твоя беда, Джафи: ты просто старый анархист, который боится общества. Какая тебе разница? Сравнения одиозны.

— Ну, Смит, мне просто показалось, что это место кишит старыми богатыми пердунами, а цены окажутся слишком высокими, я признаю: да, меня пугает все это американское благосостояние, я всего лишь старый бхикку, и у меня нет ничего общего со всем этим высоким уровнем жизни, черт бы его побрал, я всю свою жизнь был бедным парнем и не могу привыкнуть к некоторым вещам.

— Что ж, твои слабости достойны восхищения. Я их покупаю. — И у нас получился замечательный волчий обед: печеная картошка и свиные отбивные, салат и горячие булочки, пирог с голубикой и приложениями. Мы так честно проголодались, что это было даже не смешно — и честно. После обеда мы зашли в винную лавку, где я купил бутылку мускателя, а пожилой хозяин и его жирный приятель посмотрели на нас и спросили:

— Где это вы, парни, были?

— Да лазили там на Маттерхорн, — гордо ответил я. Они лишь вылупились на нас, разинув рты. Я же чувствовал себя превосходно, купил еще сигару, зажег ее и продолжил: — Двенадцать тысяч футов — и мы слетели оттуда с таким аппетитом и нам было так четко, что теперь это вино

шарахнет по нам будь здоров. — Старики только лыбились на нас. Мы все были обожжены солнцем, грязны — вид, в общем, дикий. Они ничего не сказали. Они подумали, что мы спятили.

Мы влезли в машину и поехали назад в Сан-Франциско, по дороге пили вино, ржали, травили длинные байки, а Морли в ту ночь действительно вел малину прекрасно и тихо прокатил нас по серым предрассветным улочкам Беркли, пока мы с Джафи дрыхли без задних ног на сиденьях. В каком-то место я проснулся совсем как маленький, мне сказали, что я уже дома, я вывалился из машины и проковылял по траве к флигелю, откинул одеяла, свернулся калачиком и проспал до следующего дня прекрасным сном, совершенно без всяких сновидений. Когда же на исходе следующего дня я проснулся, все вены у меня на ногах прочистились. Я поработал так, что сгустки крови просто перестали существовать. Я чувствовал себя очень счастливым.

13

Когда я встал на следующий день, то не смог удержаться от улыбки, вспомнив, как Джафи, нахохлившись, стоял возле модного ресторана и раздумывал, впустят нас или нет. Я тогда впервые увидел, как он чего-то боится. Я собирался в тот вечер рассказать ему о таких вещах, если он заглянет к вам. Но именно той ночью все и случилось. Во-первых, Алва на несколько часов отлучился, и я сидел в одиночестве и читал, как вдруг услышал во дворе шум подъехавшего велосипеда; я выглянул — там была Принцесса.

— Где все? — спросила она.

— Ты надолго?

— Надо ехать сразу же, если не позвоню матери.

— Так давай позвоним.

— Ладно.

Мы сходили на угол, к автомату на бензоколонке, и она сказала, что будет дома через два часа, и пока мы или по тротуару обратно, я обнял ее за талию и так впился пальцами ей в живот, что она вскрикнула:

— Уууx, я не выдержу! — и чуть не упала на мостовую, вцепившись зубами мне в рубашку, но тут с нами поравнялась какая-то старуха, обдав нас злобным взглядом, а когда прошла мимо, мы сплелись в безумном страстном поцелуе под вечерними деревьями. Потом рванули к нам во флигель, где она целый час буквально волчком вертелась в моих обьятьях, и Алва зашел как раз посреди наших последних почестей Бодхисаттве. Как обычно, мы вместе залезли в ванну. Было замечательно сидеть в горячей воде, болтать и намыливать друг другу спинки. Бедная Принцесса, она действительно имела в виду каждое слово, которое произносила. Я на самом деле хорошо к ней относился, сострадал ей и даже предупредил:

— Не сходи с ума и не устраивай диких оргий с пятнадцатью парнями на горной вершине.

Джафи пришел, когда она ужа уехала, потом заявился Кафлин, и вдруг (а у нас было вино) в новом флигеле началась безумная вечеринка. Все закрутилось, когда мы с Кафлином, уже пьяные, шли под ручку по главному променаду городка и тащили, почти неправдоподобные какие-то цветы, которые нашли у кого-то в саду, и нераспечатанный пузырь, орали хайку, «хоо»,

сатори всем, кого видели на улице, и все нам улыбались.

— Прошел пять миль с огромным цветком! — вопил Кафлин: он мне теперь нравился, он выглядел как очкарик-«жиропупокомбинат», но вид обманчив, он был настоящим человеком. Мы шли навестить какого-то преподавателя английской филологии из универа, кафлинского знакомого, и Кафлин разулся прямо у того на лужайке и, танцуя, ввалился прямо в дом к изумленному преподу — несколько даже его напугав, хотя Кафлин к этому времени стал уже довольно известным поэтом. Затем босиком, с нашими огромными цветами и пузырями мы отправились обратно, и уже было около десяти. Я в тот день получил по почте кое-какие деньги — дотацию в триста баксов, — поэтому сказал Джафи:

— Ну, я теперь все познал, я готов. Как по части отвезти меня завтра в Окленд и помочь выбрать рюкзак, снаряжение и все остальное, чтобы я уже мог сняться в пустыню?

— Хорошо, я возьму машину Морли и заеду за тобой первым делом с утра, а сейчас как ты насчет вот этого винца? — Я зажег маленькую тусклую лампочку под красным платком, мы разлили и уселись вокруг поговорить. Это была замечатель-

ная ночь разговоров. Сначала Джафи принялся рассказывать о своей сознательной жизни: как он был торговым моряком в нью-йоркском порту и расхаживал в 1948 году с ножом на поясе, что страшно удивило нас с Алвой, потом про девчонку, в которую был влюблен и которая жила в Калифорнии: — У меня на нее стоял три тысячи миль, пока я к ней ехал, во как!

Затем Кафлин сказал:

— Расскажи им про Великую Сливу, Джаф.

И Джафи немедленно откликнулся:

— Учителя Дзэна Великую Сливу спросили, в чем великий смысл буддизма, и тот ответил: в цветах тростника, в сережках ивы, в иглах бамбука, в льняной нити, иными словами: держись, парень, экстаз — всеобщ, вот что он имел в виду, экстаз — в разуме, в мире больше ничего нет, кроме разума, а что есть разум? Разум — не что иное, как мир, черт подери. Тогда Конский Предок сказал: «Этот разум — Будда». И еще он сказал: «Ни один разум — не Будда». И в самом конце, говоря о Великой Сливе, его мальчике, он сказал: «Слива созрела».

— Что ж, это все довольно любопытно, — изрек

Алва, — но «Ou sont les neiges d'antan?»[17]

— Я как бы согласен с тобой, поскольку беда в том, что эти люди видели цветы как они есть во сне, но ведь, дьявольщина, мир — это настоящие Смит и Голдбук, а все продолжают так, словно это сон, черт, как будто они сами — сны или точки. Боль, любовь или опасность снова делают тебя реальным, разве не так, Рэй? Вроде того, как ты испугался на том карнизе?

— Там все было реально, да уж.

— Вот почему первопроходцы фронтира — всегда герои и всегда были моими настоящими героями, и всегда будут. Они постоянно настороже в той реальности, которая может оказаться реальной с таким же успехом, как и нереальной, какая разница? В Алмазной Сутре говорится: «Не составляй уже готовых представлений ни о реальности существования, ни о нереальности существования», — или что-то в этом духе. Наручники размякнут, дубинки легавых будут свергнуты, как бы то ни было, давайте продолжать быть свободными!

— У Президента Соединенных Штатов вдруг разовьется косоглазие, и он сплывет! — вопил я.

---

[17] Примечания: 17

«Но где же прошлогодний снег?» (фр.) — знаменитая строка из «Баллады о дамах былых времен» Франсуа Вийона.

— А анчоусы рассыплются в прах! — вопил Кафлин.

— Золотые Ворота скрипят от предзакатной ржавчины, — говорил Алва.

— А анчоусы рассыплются в прах, — стоял на своем Кафлин.

— Дайте еще глотнуть. Хау! Хо! Хоо! — Джафи подпрыгнул: — Я читал Уитмена, знаете, что он говорит: «Взбодритесь, рабы, и пусть трепещут чужеземные деспоты,» — в том смысле, что вот таким должен быть Бард, певец Дзэнского Безумства старинных троп пустыни, видите: все это — это мир, полный скитальцев с рюкзаками. Бродяг Дхармы, отказывающихся подписаться под общим требованием потреблять продукцию, а значит — и работать ради привилегии потреблять все это дерьмо, которое им все равно ни к чему: холодильники, телевизоры, машины, ну, по крайней мере, новые и модные, масло для волос, дезодоранты и прочее барахло, которое в конце концов неделю спустя все равно окажется на помойке, все они — узники потогонной системы, производства, потребления, работы, производства, потребления, у меня перед глазами видение великой рюкзачной революцин — тысячи или даже миллионы молодых американцев скитают-

ся по свету с рюкзаками, уходят в горы молиться, смешат детей и радуют стариков, молодых девчонок делают счастливыми, а старых — еще счастливее, все они — Безумцы Дзэна, ходят и слагают стихи, возникающие в головах просто так, безо всякой причины; тем, что они добры, своими странными неожиданными выходками они заставляют всех, все живые существа видеть вечную свободу, вот что мне как раз нравится в вас, Голдбук и Смит, два парня с Восточного Побережья, которое, как я думал, уже мертво!

— А мы думали, это Западное Побережье мертво!

— Это именно вы, на самом деле, принесли сюда свежий ветер. Вы что, не понимаете, что чистый юрский гранит Сьерра-Невады с рвущимися ввысь соснами, пережившими последний ледниковый период, и озерами, которые мы только что видели, — это одно из величайших на земле проявлений, вы только подумайте, какой подлинно великой и мудрой станет Америка, когда вся эта энергия, изобилие, пространство сойдутся в Дхарме, как в фокусе.

— Ох, — это Алва, — ну ее на фиг, твою старую доставшую Дхарму.

— Хо! Нам нужен только парящий дзэндо, что-

бы старый Бодхисаттва мог скитаться с места на место и всегда быть уверен, что найдет, где переночевать среди друзей и приготовить себе кашу.

— «Возрадовались парни, решили не спешить, Джек приготовил кашу, чтоб двери те почтить», — прочел я.

— Что это?

— Это я поэму написал. «Сидели парни в роще, в глухой-глухой ночи, а Бадди объяснял им про разные ключи. Сказал он: Дхарма — двери…» Нет, погодите… «Ключи, — сказал я, — ибо у нас их много есть, а дверь — одна, как улей, хоть пчел не перечесть. Я расскажу сейчас вам и всем вашим друзьям то, что в Земле я Чистой давно услышал сам. Тем молодцам, кто только и знает дел, что пьет, и слов кто из пустыни моих не разберет, все будет попроще — как бутылка вина, как славный костер, да небес глубина. Когда же постигнуть возьмете за труд всю Дхарму старинных желаемых Будд, под деревом в пустыне вы с истиной садитесь — в Юме, Аризона, или где захотите, и не благодарите — не я придумал так, я лишь колесо вращаю, по-другому нельзя никак, ведь Разум — Творец, и причин не дано тому, что творимо: ему пасть суждено.»

— Ах, но это слишком мрачно и липко, как

сон, — сказал Алва, — хотя рифма чистая, как у Мелвилла.

— У нас будет парящий дзэндо для пьяниц Бадди, чтоб они приходили, залегали и учились пить чай, как Рэй, учились медитировать, как тебе этому следует научиться, Алва, а я буду главным монахом дзэндо с большой банкой, полной сверчков.

— Сверчков?

— Да, сэр, вот что — сеть монастырей, в которые можно будет уходить, чтобы там монастировать и медитировать, у нас может быть по нескольку хижин в Сьеррах или в Больших Каскадах, или даже, как Рэй говорит, в Мексике, и у нас будут здоровенные дикие банды чистых святых людей, которые будут собираться вместе, пить, разговаривать и молиться, вы только подумайте, какие волны спасения могут течь из таких вот ночей, как эта, и у нас, наконец, там будут и женщины, жены, маленькие хижины для верующих семей, как у пуритан в старину. Кто бы говорил, что американские лягаши, республиканцы и демократы распоряжаются, что кому делать?

— А сверчки зачем?

— Большая банка сверчков, дай-ка еще хлебнуть, Кафлин, около одной десятой дюйма в

длину, с огромными белыми усами, я их сам выращу, маленькие разумные создания в банке, они будут петь по-настоящему клево, когда подрастут. Я хочу купаться в реках и пить козье молоко, и разговаривать со жрецами, и читать только китайские книги, и бродить по долинам, и беседовать с крестьянами и с их детишками. У нас в дзэндо будут недели сосредоточенности, когда твой разум пытается улететь, словно бумажный самолетик, а ты, как хороший солдат, возвращаешь его на место и собираешь воедино с закрытыми глазами, только все это, конечно, неправильно. Ты слышал мои последние стихи, Голдбук?

— Не-а.

— Мать детей, сестра, дочь больного старика, девственница, твоя блузка вся разорвана, ты голодна и боса, я тоже голоден, прими эти стихи.

— Прекрасно, прекрасно.

— Хочу велосипед в полуденную жару, носить пакистанские кожаные сандалии, кричать высоким голосом приятелям — дзэнским монахам, стоящим в летних рясах из тонкой пеньки и с бритыми головами, хочу жить в золотых храмовых павильонах, пить пиво, говорить прощай, поехать в Йокогаму — большой жужжащий ази-

атский порт, полный судов и судей, надеяться, искать работу, возвращаться, снова уезжать, ехать в Японию, возвращаться в США, читать Хакуина, скрипеть зубами и все время дисциплинировать себя, ни к чему не приходя и так постигая… постигать, что мое тело и все остальное устаёт, заболевает, дрябнет, и так постичь все о Хакую.

— Кто это — Хакую?

— Его имя означало «Белая Неизвестность», его имя означало, что он живет в горах за «Северной Белой Водой», куда я пойду в поход, ей-Богу, там, должно быть, полно крутых сосистых ущелий, бамбуковых долин и маленьких утесов.

— Я пойду с тобой! (Это я.)

— Хочу читать о Хакуине, который пошел навестить этого старика, жившего в пещере, спавшего с оленями и евшего каштаны, и старик сказал ему бросить меритировать и думать про коаны, как говорит Рэй, а вместо этого научиться засыпать и просыпаться, он сказал: когда ложишься спать, ты должен сложить ноги вместе и глубоко вдыхать, а потом сосредоточиться на точке в полутора дюймах ниже пупка, пока не почувствуешь, как она становится таким мячиком силы, а затем начинай дышать от самых пяток

наверх и сосредоточься на том, что говоришь себе: этот центр вот тут — Чистая Земля Амиды, центр разума, — а когда проснешься, то должен сразу начать сознательно дышать и немного потягиваться, и думать то же самое — видишь, весь остаток времени?

— Вот это — как раз то, что мне нравится, понимаешь? — сказал Алва. — Вот такие действительные указания к чему-то. А что еще?

— В остальное время, сказал он, не беспокойся о том, чтобы думать ни о чем, просто хорошо ешь, но не слишком много, хорошо спи, и еще старина Хаюку сказал, что ему тогда как раз стукнуло три сотни лет, и он себя чувствует так, что собирается прожить еще пятьсот, ей-Богу, и тут я подумал, что он до сих пор еще в этих горах может сидеть, если он вообще — кто-то.

— Или пастух пнул свою овчарку! — вставил Кафлин.

— Спорим, я могу найти в Японии эту пещеру.

— В этом мире нельзя жить, но пойти больше некуда, — засмеялся Кафлин.

— Что это значит? — спросил я.

— Это значит, что кресло, в котором я сижу, — львиный трон, а сам лев где-то ходит и ревет.

— И что он говорит?

— Он говорит: Рахула! Рахула! Лик Славы! Вселенная схряпаца и заглочена!

— А-а, херня! — завопил я.

— Через пару недель я еду в Приморское Графство, — сказал Джафи. — Пройду сто раз вокруг Тамалпаиса, помогу очистить атмосферу и приучить местных духов к звуку сутры. Что скажешь на это, Алва?

— Я скажу, что это миленькая такая галлюцинация, но я ее все равно люблю.

— Алла, с тобой беда в том, что ты себе не даешь достаточно ночного зазен, особенно когда снаружи холодно, а это — самое лучшее, а кроме этого, тебе надо жениться и завести детишек-полукровок, рукописи, одеяла домашней выделки и материнское молоко на своем счастливом драном половике, как вот этот. Заведи себе хижину неподалеку от города, живи скромно. Время от времени празднуй в барах, пиши и броди по холмам, учись пилить доски и разговаривать с бабусями, дурень чертов, подносить им вязанки дров, хлопать в ладоши у всяких святынь, принимать сверхъестественные блага, брать уроки составления букетов и выращивать у дверей хризантемы, и женись, ради всего святого, найди себе дружелюбное, ловкое, отзывчивое человеческое

существо — девчонку, которой наплевать на мартини каждый вечер и дурацкую эмалированную технику на кухне.

— О, — произнес Алва, приподнимаясь в радости, — а еще что?

— Думай о ласточках из сараев и козодоях, кормящихся в полях. Кстати, знаешь, Рэй, со вчерашнего дня я перевел еще один куплет из Хань Шана, слушайте: «Холодная Гора — это дом без стропил и без стен, шесть дверей слева и справа распахнуты, зал — голубое небо, комнаты свободны и пусты, восточная стена сходится с западной, а посередине — ничего. Просители не тревожат меня, когда холодно, я развожу костерок, когда голоден, я варю зелень, мне не нужен кулак с его большим сараем и пастбищем… он лишь строит себе тюрьму, и попав в нее, уже не выберется, подумай об этом, это может случиться и с тобой».

Потом Джафи взял гитару и пустился петь песни; в конце взял гитару я и тоже сочинил песню, пощипывая струны, как мог, вернее, постукивая по ним кончиками пальцев — пум, пум, пум — и спел про товарняк «Ночной Призрак»:

— Это про полночного призрака из Калифорнии, но вы знаете, почему я подумал про Смита? Жарко, очень жарко, бамбук там вымахал до соро-

ка футов, и хлещется на ветерке, и жарко, и кучка монахов где-то свиристит в свои флейты, и когда они читают сутры под постоянный барабанный бой танца квакиутлей, с риффами колокольчиков и палок, то это надо слышать — как пение большого доисторического койота… Во всех вас что-то упрятано, чокнутые, что хотят вернуться к тем временам, когда люди женились на медведицах и беседовали с буйволами, клянусь Богом. Дайте еще выпить. Всегда штопайте себе носки, парни, и смазывайте сапоги.

И, как будто одного этого было недостаточно, Кафлин спокойно, сидя по-турецки, выдал:

— Перья подточите, галстуки завяжите, почистите обувь, ширинки застегните, вымойте харю и причешитесь, пол подметите, пироги с черникою сотрите, глаза распахните…

— Пироги с черникой — это хорошо, — сказал Алва, серьезно оттянув себя за губу.

— Все это время помня, что я очень старался, но рододендрон лишь наполовину просвещен, а муравьи и пчелы — коммунисты, а трамваям скучно.

— А маленькие япончики в поезде «эф» поют «инки-динки-парле-ву!» — завопил я.

— А горы живут в полнейшем неведении, по-

этому я не сдаюсь, снимай ботинки и клади себе в карман. Я уже ответил на все ваши вопросы, очень жаль, дайте выпить, мовэ сюже[18].

— Не наступи не яйцесоса! — пьяно вопил я.

— Попробуй, но не наступи на муравьеда, — сказал Кафлин. — Не соси всю свою жизнь, заглохни, тупица. Усек? Мое лев накормлен, я сплю у него под боком.

— Ох, — сказал Алва, — если б я мог все это записать. — Я был изумлен, просто изумлен своим сонным мозгом от чудесных молниеносных дротиков трёпа. Все расплывалось, мы были пьяны. Это была безумная ночь. Она кончилась тем, что Кафлин и я боролись, делая дыры в стенах, и чуть было не разнесли домик вообще: на следующий день Алва довольно сильно злился. В этом борцовском поединке я практически сломал бедняге Кафлину ногу; сам же засадил на целый дюйм занозу, которая вышла наружу почти что через год. Был момент, когда в дверях, как привидение, появился Морли с двумя квартами йогурта и спросил, не хотим ли мы. Джафи ушел около двух, сказав, что вернется и заберет меня утром, чтобы ехать на весь день и снаряжать меня по полной

---

[18] Примечания: 18
Плохой сюжет, дурацкай история (искаж. фр.)

схеме. С Безумцами Дзэна все было в порядке, желтый дом находился от нас слишком далеко, нас оттуда не слышали. Но во всем этом была мудрость, вы это сами увидите, если как-нибудь ночью пройдетесь по пригородной улице, минуя дом за домом по обеим сторонам, в каждом — по лампе в гостиной, сияющей золотом, внутри — голубой квадратик телевизора, внимание каждой живущей семьи приковано, возможно, к одной и той же передаче; никто не разговаривает; во дворах тишина; на вас гавкают собаки, потому что вы проходите мимо на человеческих ногах, а не на колесах. Вы поймете, что я имею в виду, когда начнет казаться, что все в мире уже думают одинаково, а Безумцы Дзэна давно стали прахом, и смех застыл на их устах из праха. Только одно скажу я в защиту этих людей, смотрящих телевизоры — миллионы и миллионы Одних Глаз: они никому не причиняют зла, пока сидят перед этим Глазом. Но ведь и Джафи никому не делал зла… Я вижу его в будущем, бредущего с набитым рюкзаком по пригородным улочкам мимо голубых телевизионных окон домов, одного, его мысли — единственные мысли, не подключенные к Главному Рубильнику. Что же до меня, то, быть может, ответ содержался в моей поэме про Бадди,

которая продолжалась так: «Чья шуточка злая над нами, козлами? Кто, как крыса, свалил — так, что след в пустыне простыл? — спросил Монтанский Кент, улучив момент, у друга всех людей, что сидел в норе своей. — То Бог запсиховал, как индеец-нахал? Лишь жизнь Он подарил — да и то всех обдурил: сначала дал всем сад, потом забрал его назад, потом потоп наслал, и человек столько крови потерял. Ответь же нам, приятель, хоть ответ твой неприятен: кто смеется так дико над Гарри и Диком, и почему так подла эта Вечная Мгла, и где смысл и законы всего этого загона?» Я думал, быть может, мне удастся узнать, наконец, ответ от этих Бродяг Дхармы.

14

Но у меня были и собственные куцые идейки, и они не имели ничего общего с «безумством» всего этого. Я хотел иметь мешок, в котором было бы все необходимое для того, чтобы спать, укрываться в непогоду, есть, готовить — на самом деле, натуральные спальню и кухню прямо у себя на горбу, чтобы можно было отвалить куда подальше и обрести совершенное одиночество, и заглянуть в совершенную пустоту своего разума, и стать совершенно нейтральным от всех и всяческих идей. Еще я собирался молиться, это была бы единственная моя работа — молиться за все живые существа: я видел, что на земле это осталось единственным порядочным занятием. Сидеть где-нибудь в ущелье у реки, или в пустыне, или в горах, или в какой-нибудь лачуге в Мексике, или в хижине в Адирондаке, отдыхать и быть добрым, и ничего не делать — практиковать то, что китайцы называют «не-деянием». Я не хотел иметь ничего общего ни со взглядами Джафи на общество (я прикидывал, что лучше будет вовсе избегать его, обходить стороной), ни со взглядами

Алвы, что надо хватать жизнь, покуда можешь, поскольку она так сладко-печальна, и когда-нибудь настанет день, и ты умрешь.

Когда Джафи на следующее утро заехал за мной, все это вертелось у меня в голове. Он, я и Алва приехали в Окленд на машине Морли и отправились сначала в магазины «Гудвилла» и Армии Спасения, где накупили разных фланелевых рубашек (по пятьдесят центов за штуку) и маек. Нас страшно доставали цветные майки, и всего через какую-то минуту после того, как мы перешли на другую сторону улицы под ясным утренним солнышком, а Джафи сказал:

— Знаете, Земля — свежая планета, зачем о чем-то волноваться? (что так и есть), — мы уже рылась с удивленными физиономиями во всяких пыльных сундуках, набитых отстиранными и заштопанными рубашками всех старых бродяг трущобной вселенной. Я купил носки — пару длинных шерстяных шотландских носков, доходивших мне до колен, что полезно, когда холодной ночью медитируешь под открытым небом. И еще за девяносто центов я купил славную полотняную куртку на молнии.

Потом мы поехали в огромный военно-морской магазин в Окленде, зашли там в самый дальний

угол, где с крючьев свисали спальники и всевозможное снаряжение, включая знаменитый надувной матрас Морли, канистры, фонари, палатки, ружья, фляги, резиновые сапоги, всякие неописуемые примочки для охотников и рыболовов, из которых мы с Джафи выбрали множество полезных для бхикку мелочей. Он купил алюминиевую держалку для котелка и подарил ее мне; поскольку это алюминий, то не обожжешься, вытаскивая ею котелок прямо из костра. Он выбрал для меня отличный подержаный спальник на гагачьем пуху, расстегнул его, проверил внутренности. Затем — новенький рюкзак, которым я так гордился.

— Я отдам тебе свой чехол к спальнику, — сказал он. Потом я купил маленькие пластмассовые снежные очки — просто ради прикола — и железнодорожные перчатки, совсем новые. Я считал, что дома, на Востоке, у меня осталась достаточно хорошая обувь: я ехал туда на Рождество, а то бы обязательно купил себе итальянские горные сапоги, как у Джафи.

Из оклендского магазина мы снова поехали в Беркли, в лыжный магазин, где, когда мы зашли внутрь и к нам подходил продавец, Джафи произнес своим голосом дровосека:

— Вот, снаряжаю друзей к Апокалипсису. — И он завел меня в глубину магазина и выбрал прекрасную нейлоновую накидку с капюшоном: набрасываешь ее на себя и даже на рюкзак (и становишься монахом с огромным горбом), и она полностью закрывает тебя от дождя. Еще из нее можно сделать маленькую палаточку или подстилать под спальный мешок. Еще я купил полибденовую бутылку с завинчивающейся пробкой, в которой можно было (как я себе сказал) носить в горы мед. Но впоследствии я пользовался ею как фляжкой для вина — больше, чем для чего-либо другого, а позже, когда заработал немного денег, — как фляжкой для виски. Я купил и пластмассовый шейкер, который очень пригодился: столовая ложка сухого молока, немного воды из ручья — и вот взболтал себе целый стакан молока. Еще я накупил кипу пищевых концентратов — как у Джафи. Я в самом деле теперь был снаряжен будто к Апокалипсису, кроме шуток: если бы в ту ночь на Сан-Франциско упала атомная бомба, мне пришлось бы только пешком выбраться оттуда, если возможно, и со всей своей сушеной пищей, плотно упакованной, со спальней и кухней на собственном загривке я бы бед в мире не знал. Последними крупными

приобретениями были котелки: два больших, входящих один в другой, — крышка с рукояткой могла служить сковородкой, — оловянные кружки и маленькие, подогнанные друг к другу алюминиевые приборы. Джафи сделал мне еще один подарок из собственного рюкзака: нормальную ложку, — но вытащил плоскогубцы и загнул ей ручку:

— Смотри, когда захочешь вытащить из сильного пламени котелок, только зацепи. — Я ощущал себя новым человеком.

15

Тем же вечером я надел свою новую фланелевую рубашку, новые носки, белье, джинсы, плотно набил рюкзак, влез в лямки и отправился в Сан-Франциско, чтобы просто прикинуть, каково ходить по ночному городу с этой штукой на спине. Весело распевая, я прошел по всей Мишн-стрит. Зашел на Скид-Роу[19], на Третью Улицу — поесть там своих любимых пончиков с кофе, а все тамошние бичи пришли в восхищение и стали спрашивать, не уран ли я иду разведывать. Я не хотел пускаться в долгие речи по поводу того, что, в конечном итоге, то, за чем я иду, окажется бесконечно полезнее для человечества, нежели какая-то руда, но пусть уж они мне скажут:

— Парень, тебе надо добраться только до Колорады вместе со своим мешком, и еще возьми маленький счетчик Гейгера — и станешь миллионером. — На Скид-Роу все хотят стать миллионерами.

---

[19] Примечания: 19

Название района трущоб, ставшее нарицательным; происходит от «skid road» — так американские лесорубы в конце XIX века называли главную просеку лесоповала.

— Ладно, парни, — ответил я. — Может, я так и сделаю.

— На Юконе тоже много урана.

— И в Чихуахуа, — сказал один старик. — Любые башли поставлю, что в Чихуахуа есть уран.

Я ушел оттуда и стал бродить по Сан-Франциско со своим огромным мешком, счастливый. Пошел к Рози, чтобы повидать их — Коди с Рози. Увидев ее, я поразился — так внезапно она изменилась: вдруг стала худющей, как скелет, а глаза — громадны и расширены от ужаса.

— Что случилось?

Коди затащил меня в другую комнату: он не хотел, чтобы я с нею разговаривал.

— Это она за последние двое суток так дошла, — сказал он.

— Да что же с ней произошло?

— Она говорит, что составила список всех наших имен и всех наших грехов, и говорит, что потом попыталась спустить это все в канализацию у себя на работе, но большой лист бумаги застрял в унитазе, и они вынуждены были прислать какого-то типа все это прочистить, а она утверждает, что на нем была форма, что он легавый, что он забрал список с собой в участок, и нас теперь всех арестуют. Она просто свихнулась,

вот и все. — Коди был старым моим корешем, много лет назад в Сан-Франциско он пустил меня пожить к себе на чердак, старый верный дружбан. — А ты видел отметины у нее на руках?

— Да. — Я видел ее руки, они были все изрезаны.

— Она пыталась вскрыть себе вены каким-то тупым ножом, он не резал. Я боюсь за нее. Ты за нею не приглядишь, мне вечером надо на работу?

— Ох, елки…

— «Ох, елки, ох, елки» — не будь таким. Ты же знаешь, как сказано в Библии: «даже для ничтожнейших из них…»

— Ладно, только я сегодня как раз собирался оттянуться.

— Оттяг — это еще не все. Иногда бывают еще и обязательства, знаешь ли.

Я так и не смог похвастаться своим новым рюкзаком в «Месте». Коди отвез меня в кафетерий на Ван-Нессе, где я купил для Рози кучу бутербродов на его деньги, отправился обратно один и попытался заставить ее поесть. Она сидела в кухне, уставясь на меня.

— Но ты себе не представляешь, что это значит! — все время повторяла она. — Теперь им известно про тебя все.

— Про кого?

— Про тебя.

— Про меня?

— И про тебя, и про Алву, и про Коди, и про этого Джафи Райдера, про всех вас — и про меня тоже. Про всех, кто тусуется в «Месте». Нас всех завтра арестуют — если не раньше. — Она посмотрела на дверь с нескрываемым ужасом.

— Зачем ты хотела так порезать себе руки? Ведь так поступать с собой гадко.

— Потому что я не хочу жить. Говорю тебе — скоро будет новая большая полицейская революция.

— Да нет же, будет рюкзачная революция, — смеясь, ответил я, не представляя себе, насколько серьезна ситуация; фактически, ни у Коди, ни у меня не было этого чувства: по ее рукам следовало понять, насколько далеко она хотела уйти. — Послушай меня, — начал я, но она не хотела слушать.

— Неужели ты не понимаешь, что происходит? — кричала она, уставившись на меня своими широко распахнутыми, искренними глазами, пытаясь какой-то сумасшедшей телепатией заставить меня поверить, что то, о чем она говорит, — абсолютно истинно. Она стояла

в этой кухне их маленькой квартирки, воздев руки-палочки в мольбе, пытаясь объяснить: ноги напряжены, кудри рыжих волос, ее всю трясло и передергивало, она то и дело сжимала лицо руками.

— Да это все дерьмо собачье! — заорал я — как вдруг у меня возникло то чувство, которое всегда бывает, когда я пытаюсь объяснить Дхарму людям: Алве, моей матери, родственникам, подружкам, всем, они никогда не слушают, они всегда хотят, чтобы я их слушал, уж они-то знают, а я не знаю ничего, я просто молодой тупица, непрактичный дурень, который не понимает всей серьезности этого самого, важного, очень настоящего мира.

— Полиция устроит облаву и арестует нас всех, и мало того — нас будут допрашивать целыми неделями и может быть даже годами, пока не выпытают у нас все преступления и грехи, что мы совершили, это целая сеть, она тянется во все стороны, они, в конце концов, арестуют всех на Норт-Биче[20] и даже всех в Гринвич-Виллидж[21], а потом доберутся до Парижа, и в конце все бу-

---

[20] Примечания: 20
Богемный район Сан-Франциско.

[21] Примечания: 21
Богемный район Нью-Йорка.

дут у них в тюрьме — ты не знаешь, это только начало. — Она вздрагивала от звуков в коридоре, думая, что фараоны уже идут.

— Ну почему ты не хочешь меня выслушать? — умолял я, но всякий раз, когда я это произносил, она гипнотизировала меня своими неподвижными глазами и ненадолго чуть ли не заставляла поверить в то, во что верила сама, — одной лишь тяжестью собственного упорства в том, что различал ее разум. — Но ты же ни на чем не основываешь свои глупые концепции и убеждения, неужели ты не понимаешь, что вся эта жизнь — лишь сон? Ну расслабься же и наслаждайся Богом? Бог — это ты и есть, дура!

— Ох, они уничтожат тебя, Рэй, я это вижу, они посадят всех верующих квадратов[22] и тоже проучат их хорошенько. Это только начало. Все это связано с Россией, хотя они никогда не признаются… И еще я слыаала что-то о солнечных лучах и о том, что происходит, когда мы все спим. Ох, Рэй, мир никогда не станет прежним!

— Какой мир? Да какая тебе разница? Остано-

---

[22] Примечания: 22

«Квадрат» — конформист, обыватель, «неврубающийся», непросвещенный человек. Происходит от стандартного жеста джазового дирижера, отбивающего правильный, несинкопированный бит на четыре такта, — его рука описывает в воздухе хвадрат.

вись, пожалуйста, ты меня пугаешь. Нет, клянусь, на самом деле ты меня не пугаешь, и я не стану слушать ни единого твоего слова. — Я выскочил на улицу, злой, купил вина, встретил Ковбоя и других музыкантов и примчался с ними назад присматривать за нею. — Выпей вина, авось поумнеешь.

— Нет, я отказалась от кира, все вино, которое ты хлещешь, — отрава, оно выжигает желудок, оно отупляет мозги. Я знаю — с тобой что-то не так, ты не чувствителен, ты не представляешь себе, что происходит!

— Ай, да кончай ты.

— Это моя последняя ночь на земле, — добавила она.

Мы с музыкантами все выпили, поговорили примерно до полуночи — с Рози уже, казалось, все было нормально, она лежала на кушетке, разговаривала, даже немного смеялась, ела свои бутерброды и пила чай, который я для нее заварил. Музыканты ушли, и я лег спать в кухне на полу в своем новом спальнике. Но когда Коди под утро вернулся домой, а я ушел, она вылезла на крышу, пока он отсыпался, разбила фонарь, чтобы осколками порезать себе запястья, и на заре сидела там, истекая кровью, когда ее заметил со-

сед, вызвал полицию, и когда легавые выскочили на крышу, чтобы помочь ей, тут все и произошло: она увидела огромных фараонов, которые арестуют нас всех, и бросилась к краю крыши. Один, молодой ирландец, кинулся, стараясь поймать ее за ноги, но ухватил только полу халата — Рози выскользнула из него и обнаженной упала на тротуар шестью этажами ниже. Музыканты, жившие в полуподвальной квартире, всю ночь не спали, разговаривали и слушали пластинки — они услышали глухой удар, выглянули в свое подвальное окошко и увидели весь этот ужас.

— Чувак, это нас доконало, мы в тот вечер вообще играть не могли. — Они задернули шторы, их трясло. Коди спал… Когда я услышал об этом на следующий день и увидел фото в газете — крест на тротуаре, куда она упала, — одной из моих мыслей было: если бы только она меня послушала… В конце концов, неужели я так тупо ей все это говорил? Что — мои идеи по части того, что нужно делать, — такие уж глупые и детские? Не пора ли начать делать то, что я считаю истинным?

Это все и решило. На следующей неделе я уложил рюкзак и решил пуститься в путь, убраться из этого города невежества, каким вообще является современный город. Я попрощался с Джафи и

остальными и прыгнул на свой товарняк обратно в Л. А. по Побережью. Бедная Рози — она была абсолютно уверена, что мир реален, что страх реален, а что реально теперь? По крайней мере, — думал я, — она теперь на Небесах и она знает.

16

Именно это я и повторял себе; я теперь — на дороге к небесам. Мне вдруг стало ясно, что за свою жизнь мне предстоит многому научить. Как я уже говорил, мы с Джафи увиделись до моего отъезда — печально бродили по парку в Чайнатауне, обедали в «Нам Юэне», потом вышли оттуда, посидели на воскресной утренней травке, как вдруг появилась эта компания негров-проповедников: они стояли на газоне и проповедовали разрозненным китайским семействам, чьи детишки паслись в траве, и которым было совершенно плевать, да бичам, которым все это было лишь чуточку интересней. Большая толстая женщина, похожая на Ма Рэйни[23], стояла, широко расставив ноги, и громогласно стенала грандиознейшую проповедь, с прозы постоянно сбиваясь на блюз, — прекрасно, но проповедовала эта женщина, такой замечательный оратор, не в церкви, а лишь на улице — потому, что время от времени ей приходилось отхаркиваться и изо

[23] Примечания: 23

Гертруда Приджетт Рэйни (1886–1939) — американская певица, считающаяся первой великой блюзовой вокалисткой.

всех сил сплевывать в сторону, на траву.

— И говорю вам: Господь позаботится о вас, если вы признаете, что у вас есть новое поле… Да! — И она поворачивалась, и футов на десять летел в сторону ее харчок.

— Видишь, — сказал я Джафи, — в церкви ей этого делать нельзя, для церковного проповедника это недостаток, но елки-палки, разве ты где-нибудь слышал что-нибудь лучше?

— Ну, — согласился Джафи. — Только мне не нравится вся эта мутотень с Иисусом, которую она несет.

— А что Иисус? Разве Он не говорил о Небесах? Разве нирвана Будды — не в Небесах?

— Это только в твоей интерпретации, Смит.

— Джафи, я кое-что хотел сказать Рози и чувствовал, как меня давит эта наша схизма — что мы отделяем буддизм от христианства, Восток от Запада, какая, к чертям, разница? Мы все сейчас на Небесах, разве нет?

— Кто сказал?

— Мы сейчас в нирване или нет?

— Мы сейчас и в нирване, и в сансаре.

— Слова, одни слова — что в слове? Нирвана под любым другим именем. А кроме этого, неужели ты не слышишь, как эта бабища зовет тебя и

приказывает тебе иметь новое поле, новое поле Будды, парень? — Джафи был так доволен, что зажмурился и разулыбался. — Целые поля Будды во всех направлениях для каждого из нас, а Рози была цветочком, которому мы дали увять.

— Ты никогда не говорил правильнее, Рэй.

Проповедница подошла к нам: заметила — особенно меня. На самом деле, она даже назвала меня «своим дорогим»:

— Я вижу по глазам — ты понимаешь каждое слово, что я говорю, дорогой мой. Я хочу, чтобы ты знал: я хочу, чтобы ты попал на Небо и был счастлив. Я хочу, чтобы ты понимал каждое мое слово.

— Я слышу и понимаю.

Через дорогу там был новый буддистский храм, который пытались построить какие-то чайнатаунские китайцы из Торговой Палаты — сами: однажды ночью я проходил мимо, пьяный, и помог им затащить внутрь тачку с песком; то были такие пацавы-идеалисты в духе Синклера Льюиса[24], впередсмотрящие, они жили в

[24] Примечания: 24

Гарри Синклер Льюис (1885–1951) — американский писатель, высмеивавший в своих романах (числом 22) средний класс США. В 1930 году стал первым американцем, получившим Нобелевскую премию по литературе.

приличных домах, но надевали джинсы, выходя на работу — строить храм, совсем как в каком-нибудь городке на среднем Западе такие же среднезападные мальчишки с яснолицым вожаком, этаким Ричардом Никсоном[25], а вокруг — сплошная прерия. Здесь, в сердце невероятно изощренного маленького города под названием Сан-Францисский Чайнатаун, они занимались тем же самым, только храм их был храмом Будды. Странно, но Джафи не интересовал буддизм Чайнатауна Сан-Франциско, поскольку это был традиционный буддизм, а не дзэн художников и интеллектуалов, который он любил; я же пытался заставить его увидеть, что всё — одно и то же. В ресторане мы ели палочками, и нам нравилось. Теперь он прощался со мной, и я не знал, когда увижу его снова.

За спиной у цветной женщины стоял мужчина, он раскачивался, закрыв глаза, и повторял:

— Это так. — Она сказала нам:

— Боже благослови вас обоих, парнишки, что выслушали то, что я должна была сказать. Пом-

---

[25] Примечания: 25

Ричард Милхаус Никсон (1913–1994) — 37-й Президент Соединенных Штатов (1969–1974). Во время, к которому относится действие романа, был Вице-Президентом (1953–1961) при администрации Дуайта Эйзенхауэра.

ните, что мы знаем: все выходит хорошо у тех, кто любит Бога, и для тех, кто призван согласно Его замыслу. Послание к Римлянам, восемь-восемнадцать, парнишки[26]. И вас ожидает новое поле, только не забудьте выполнить каждое ваше обязательство в жизни. Слышите?

— Да, мэм, до встречи. — Я сказал Джафи «до свиданья».

Несколько дней я погостил у семьи Коди в горах. Он был невероятно опечален самоубийством Рози и все повторял, что должен молиться за нее денно и нощно именно в этот ответственный момент, когда ее душа, поскольку она была самоубийцей, еще порхает над поверхностью земли, готовая попасть либо в чистилище, либо в ад.

— Мы должны провести ее в чистилище, чувак. — Поэтому я помогал ему молиться, когда спал на его лужайке в своем новом спальнике. Днем я записывал, доставая из нагрудного кармана блокнотик, стишки, которые мне читали его дети: «Юу-хуу… юу-хуу… Я к тебе иду… Буу-хуу… буу-хуу… я тебя люблю… Боо-боо… синее небо… Я выше тебя… буу-хуу… буу-хуу…» А Коди в это время говорил мне:

---

[26] Примечания: 26

«Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в вас.»

— Не лакай так много этого винища.

К концу дня в понедельник я сидел на товарном дворе в Сан-Хосе и ждал дневного «зиппера» в четыре тридцать по расписанию. Но у него сегодня оказался выходной, поэтому пришлось дожидаться «ночного призрака» в полвосьмого. А тем временем, пока темнело, я приготовил себе банку макаронов на индейском костерке из веточек в глубине густых зарослей прямо у полотна и поел. «Призрак» был уже на подходе. Дружелюбный стрелочник сказал мне, что на него лучше не садиться, потому что на стрелке стоит бык с фонарем, он увидит, если кто-то будет выезжать, позвонит в Ватсонвилль, и там его снимут.

— Теперь, когда зима, мальчишки вламываются в опечатанные вагоны, бьют стекла, бросают на полу бутылки — безобразничают, в общем.

Я пробрался к восточному концу депо, таща свой тяжелый мешок на весу, и поймал «призрак» на выезде, дальше стрелки с быком, расстегнул спальник, снял башмаки, подложил их под вывернутую и туго скрученную куртку, скользнул внутрь и прекрасно и радостно проспал до самого Ватсонвилля, где прятался в кустах до сигнала «путь свободен», потом забрался снова и продрых всю ночь, летя по невероятному побережью и

— о Будда, твой лунный свет, о Христос, твой волнорез на море, море, Сёрф, Тангер, Гавиота, поезд мчит со скоростью восемьдесят миль в час, а я, тепленький, как гренка, в собственном спальничке, лечу себе и буду дома на Рождество. На самом же деле, я проснулся лишь около семи утра, когда поезд медленно втягивался на лос-анжелесский товарный двор, и первым делом увидел, натягивая ботинки и собирая шмутки, чтобы спрыгнуть, — железнодорожника, который махал мне и кричал:

— Добро пожаловать в Эл-Эй!

Выбираться оттуда надо было побыстрее. Смог был тяжелым, у меня от него слезились глаза, воздух вонял — настоящая преисподняя, а не Л. А. К тому же, от детишек Коди я подхватил простуду — этот старый калифорнийский вирус, — и теперь мне было погано. Я умылся водой, струйкой текшей из вагона-холодильника, набирая ее в ладони и плеская на лицо, почистил зубы, причесался и пошел в Л. А. — времени у меня оставалось до половины восьмого вечера, когда я планировал сесть на первоклассный товарняк-«зиппер» до Юмы, Аризона. В ожидании я провел жуткий день. Пил кофе в кофейнях на Скид-Роу, на южной Мэйн-стрит: кофе с пончиками — сем-

надцать центов.

Под вечер я уже шастал по округе, поджидая поезд. В дверях сидел какой-то бродяга, наблюдая за мной со странным интересом. Я подошел к нему поговорить. Он рассказал, что был морским пехотинцем в Патерсоне, Нью-Джерси, и через некоторое время извлек клочок бумаги, который читал иногда в поездах. То была цитата из Дигха Никайя, слова Будды. Я улыбнулся; я ничего не сказал. Он оказался замечательным говорливым бродягой — бродягой, который не пьет, хобо-идеалистом; он сказал:

— А что тут такого? Мне так нравится. Уж лучше я буду прыгать на поезда по всей стране и готовить себе еду в консервных банках на костре, чем буду богатым, и у меня будет дом и работа. Я доволен. У меня раньше был артрит, знаешь ли, я много лет лежал в больнице. Я нашел способ его вылечить, а потом пустился в путь — и вот с тех пор я в дороге.

— А как ты вылечил свой артрит? У меня самого — тромбофлебит.

— Правда? Ну тебе тоже поможет. Просто стой на голове по три минуты в день — или, может, по пять. Каждое утро, когда я просыпаюсь — хоть на дне реки, хоть прямо в поезде на ходу, — я подсти-

лаю маленький коврик и становлюсь на голову, считаю до пятисот — это ведь как раз где-то три минуты, правда? — Его сильно беспокоило: если считать до пятисот, то составит ли это три минуты? Забавно. Наверное, в школе он был не в ладах с арифметикой.

— Ага, примерно так.

— Только делай это каждый день, и твой флебит уйдет, совсем как мой артрит. Мне, между прочим, сорок лет. И еще — перед тем, как ложиться спать, выпей горячего молока с медом, у меня всегда баночка меда с собой. — (Он выудил ее из своей котомки.) — Наливаю молоко в банку, добавляю мед и разогреваю над костром, а потом пью. Вот только эти две вещи и делаю.

— Ладно. — Я поклялся следовать его совету, поскольку он был Буддой. Результатом стало то, что примерно через три месяца мой флебит совершенно исчез и больше никогда не возникал, что само по себе удивительно. Фактически, после того раза я пытался рассказать об этом докторам, но они, наверное, думали, что я спятил. Бродяга Дхармы, Бродяга Дхармы. Я никогда не забуду этого интеллигентного еврея, бывшего морского пехотинца из Патерсона, Нью-Джерси, кем бы он там ни был, с его собственным клочком бумаги,

который он читает в грубой ночи, в люльке, рядом с оттаивающими холодильниками в нигдешних промышленных формациях той Америки, которая все равно — волшебная Америка.

В семь тридцать подошел мой «зиппер», его проверили стрелочники, а я сидел в кустах, частично спрягавшись за телефонный столб. Вот он пошел — на удивление быстро, как я заметил, — и я, со своим пятидесятифунтовым рюкзаком, выскочил и потрусил рядом, пока не заметил подходящий брус автосцепки, схватился за него, подтянулся и вылез на самую крышу вагона, чтобы хорошенько осмотреть весь состав: где там будет моя платформа. Дымы святые и свечки небесные, чтоб вас всех разнесло к чертовой бабушке и в бога душу мать: поезд набирая здоровую скорость и вылетал из этого депо, а я увидел, что это — проклятый, никуда не годный восемнадцативагонник, весь запечатанний сукин сын, и на двадцати милях в час, хоть сдохни, а надо слазить — иначе придется держаться за жизнь на восьмидесяти (что на такой верхотуре невозможно), поэтому я скоренько сполз по лесенке, но сначала пришлось выцарапать пряжку лямки, которая зацепилась за настил наверху, поэтому к тому времени, как я повис на нижней ступеньке,

готовый отпасть, мы ехали уже слишком быстро. Скинув рюкзак и крепко держа его одной рукой, спокойно и бездумно я сделал один шаг, надеясь на лучшее, все развернул и, лишь спотыкаясь, пробежал по инерции несколько футов — и снова стоял на безопасной земле.

Но зато теперь я на три мили углубился в промышленные джунгли Л. А. — в безумную, больную, сопливую ночь смога, и мне пришлось проспать ее в канаве под проволочной оградой, прямо рядом с путями, и всю ночь мне не давал покоя грохот маневровых с Южно-Тихоокеанской и Санта-Фе, скуливших по всей округе до самого тумана далеко заполночь, когда дышать стало легче (а я постоянно думал и молился в своем мешке), а потом снова туман и смог, и ужасное сырое белое облако рассвета, а в мешке спать слишком жарко, а снаружи стоять слишком сыро, один сплошной кошмар всю ночь напролет, и только на заре маленькая птичка благословила меня.

Единственно надо было выбираться из Л. А. Следуя наставлениям моего друга, я постоял на голове, подпираясь проволочной оградой, чтобы не упасть. Простуда моя немного полегчала. Потом дошел до автостанции (по путам и каким-то

боковым улочкам) и купил дешевый билет на автобус до Риверсайда в двадцати пяти милях отсюда. Фараоны с подозрением поглядывали на меня с таким большим мешком за спиной. Вса это было так далеко от легкой чистоты с Джафи Райдером в высокогорном лагере под мирными поющими звездами.

17

Чтобы выбраться из смога Лос-Анжелеса, понадобились ровнехонько все эти двадцать пять миль: в Риверсайде ясно светило солнце. Я возликовал, увидев прекрасное сухое русло с белым песочком, и лишь в середине там текла речонка; мы как раз въезжали по мосту в Риверсайд. Я искал случая впервые разбить лагерь под открытым небом и испытать свои новые воззрения. Но на раскаленной автобусной остановке мне встретился негр, сказавший, что он — наполовину могавк: он обратил внимание на мой рюкзак, а когда я сказал ему, что возвращаюсь немного назад по дороге, чтобы переночевать в том русле, он ответил:

— Нет, сэр, у вас ничего не выйдет: легавые в этом городке — самые крутые в штате. Если они вас там увидят, то вас привлекут. Ох, — продолжал он, — мне б тоже сегодня на воздухе хотелось поспать, но это незаконно.

— Это ведь ее Индия, правда? — раздосадованный, ответил я и все равно пошел — авось, получится. Совсем как с фараоном в Сан-Хосе:

если даже это незаконно, и они пытаются тебя сцапать, остается одно — все равно это делать и прятаться. Я смеялся, думая о том, что было бы, если б я был Фуке, китайским мудрецом девятого века, который бродил по Китаю, постоянно звоня в колокольчик. Единственную альтернативу тому, чтобы спать под открытым небом, прыгать по поездам и делать, что хочется, я видел в том, чтобы с сотней других пациентов сидеть перед миленьким телевизором в шизарне и «находиться под присмотром». Я зашел в супермаркет, купил концентрата апельсинового сока, творогу с орехами, пшеничного хлеба — до завтра хватит, а там уж поеду стопом с другой окраины города. По пути я заметил много патрульных машин — оттуда на меня смотрели с подозрением: лоснящиеся, хорошо зарабатывающие мусора в новеньких машинах со всяким дорогим радиооборудованием — чтобы, не дай Бог, какой-нибудь бхикку заночевал сегодня в своей роще.

Когда вокруг шоссе начался лес, я хорошенько осмотрелся — нет ли где на дороге полицейских крейсеров, — и нырнул в заросли. Пришлось продираться сквозь сухостой — мне было в лом искать бойскаутские тропинки. Я направлялся прямикам к золотым пескам речной долинки,

которые виднелись впереди. Над зарослями нависала эстакада, и меня оттуда на было видно, если на трассе кто-то вдруг не остановится и не выйдет специально посмотреть вниз. Как беглый каторжанин, я проломился через яркие хрупкие кусты и вылез наружу весь в поту и по щиколотку мокрый — пришлось форсировать ручейки, — а затем, когда я нашел славную полянку в чем-то вроде бамбуковой рощицы, то застремался зажигать костер до самых сумерек, чтобы никто не заметил его дымка, да и когда зажег, то почти сразу разворошил его до углей. Расстелил пончо и спальник на груде сухих листьев и бамбуковых щепок. Желтые ясени наполняли дневной воздух золотым дымом, заставляя меня жмуриться. Хорошее местечко, если не считать рева грузовиков на эстакаде. Простуда моя снова дала о себе знать, и я пять минут простоял на голове. Я смеялся. Что бы сказали люди, если б увидели меня? Но было вовсе не смешно, а на самом деле — довольно грустно: очень грустно, как прошедшей ночью в той жуткой, туманной местности с сетками-заборами в промышленном Л. А., когда я даже немного всплакнул. В конце концов, бездомному есть из-за чего плакать, всё на свете — против него.

Стемнело. Я взял котелок и пошел за водой, но пришлось продираться через такой густой кустарник, что когда я вернулся к себе в лагерь, большая часть воды расплескалась. Я вылил ее в свой новый пластмассовый шейкер вместе с апельсиновым концентратом и взболтал себе ледяного сока, потом намазал ореховый творог на пшеничный хлеб и, довольный, поел. Сегодня ночью, — думал я, — сплю крепко и долго, и буду молиться под звездами Господу, чтобы сделал меня Буддой, когда труды мои завершатся, аминь. И добавил, как будто уже наступило Рождество: Господи благослови вас всех, и веселого, нежного Рождества на все ваши крыши, я надеюсь, ангелы присядут на них той ночью, когда взойдет большая, богатая, настоящая Звезда, аминь. А потом, позже, когда я уже лежал, подложив мешок под голову, и курил, то подумал: все возможно. Я — Бог, я — Будда, я — несовершенный Рэй Смит, всё одновременно, я — пустое пространство, я — все вещи сразу. Все время на свете — мое, от жизни до жизни, чтобы сделать то, что надо сделать, то, что сделано, безвременное, бесконечно совершенное внутри: к чему плакать, к чему волноваться? — совершенное, как сущность разума, как разум банановых очистков, — добавил

я, смеясь и вспомнив моих поэтичных друзей, Безумцев Дзэна, Бродяг Дхармы из Сан-Франциско, по которым я уже начал скучать. И еще я прибавил маленькую молитву за Рози:

— Если бы она была жива и смогла бы со мною сюда приехать, может, я бы и смог ей что-нибудь сказать, может, она бы почувствовала себя подрутому. Может, я бы просто любил ее здесь и ничего бы не говорил.

Сидя по-турецки, я долго медитировал, но меня доставало рычание грузовиков. Вскоре высыпали звезды, и мой индейский костерок послал им струйку дыма. В одиннадцать я скользнул в свой спальник и хорошо заснул — вот только ворочался всю ночь из-за бамбуковых щепок. Лучше спать на неудобной постели свободным, чем на удобной — несвободным. По дороге я сочинял множество подобных пословиц. Со своим новым снаряжением я начал новую жизнь: настоящий Дон Кихот нежности. Наутро я ощущал приподнятость и первым делом помедитировал и сочинил маленькую молитву: «Благословляю вас, все живые существа, благословляю вас в бесконечном прошлом, благословляю вас в бесконечном настоящем, благословляю вас в бесконечном будущем, аминь».

От этой молитвы мне стало хорошо и придурочно, я упаковался и снялся в сторону водопада, сбегавшего со скалы на другой стороне шоссе — восхитительная родниковая вода, чтобы ополоснуть лицо, почистить зубы и попить. После этого я был готов к трехтысячемильному автостопу в Роки-Маунт, Северная Каролина, где меня ждала мать, возможно, моя посуду в своей милой жалкой кухоньке.

18

Популярной песней в то время была «У всех есть дом, кроме меня» — ее пел Рой Гамильтон. Шагая, я напевал ее. На другой стороне Риверсайда я вышел на трассу, и меня тотчас же подобрала молодая пара — до аэродрома в пяти милях от города, а там — тихий человечек, чуть ли не по самого Бомонта, Калифорния; он высадил меня, не доезжая пяти миль, посреди двухрядного скоростного шоссе, где никто бы все равно не остановился, поэтому я пошел дальше пешком в прекрасном искристом воздухе. В Бомонте я поел «горячих собак», гамбургеров, съел пакетик жареной картошки и запил клубничным коктейлем — и все это в толпе хихикавших школьников. Потом, на другой стороне городка, меня посадил к себе мексиканец по имени Хайми, сказавший, что он — сын губернатора мексиканского штата Баха-Калифорния; я ему не поверил, он оказался алкашом, и мне пришлось купить ему вина, которое он лишь выблевал в окно, пока ехали: понурый, грустный, беспомощный молодой человек, очень печальные глаза, очень милый,

немножко съехавший. Он направлялся аж в Мехикали — немного в сторону от моего маршрута, но ничего, довольно близко к Аризоне, сойдет.

В Калехико на главной улице шли рождественские распродажи, и там было столько невероятно совершенных, изумленных красавиц-мексиканок, что чем дальше, тем лучше они становились — так, что когда первые удалялись и истончались у меня в памяти, вторые их затмевали, — а я стоял, вертя головой во все стороны, и ел мороженое, дожидаясь Хайми, который сказал, что ему тут надо выполнить одно поручение, и он подберет меня снова и лично доставит в Мехикали, Мексика, где познакомит со своими друзьями. План мой был таков: задешево хорошо поужинать в Мексике и тем же вечером покатить дальше. Хайми, конечно, так больше и не появился. Я сам перешел границу и сразу за шлагбаумом резко повернул вправо, чтобы не попасть на местную барахолку, и там немедленно решил отлить среди строительного мусора, но сумасшедший сторож-мексиканец в какой-то официальной форме решил, что это — грубое нарушение, и что-то мне сказал, а когда я ответил, что я не знал («No se»), он сказал:

— No sabes police?[27] — Хватит же наглости вызвать легавых за то, что я пописал на его землю. Но потом я заметил и опечалился: я оросил как раз то место, где он по ночам зажигал свой костерок, там лежала кучка углей, — и я пошел по грязной улице прочь, испытывая покорность и настоящее раскаянье, со своим огромным рюкзаком за спиной, а он страдальчески все смотрел мне вслед.

Я вышел на холм и увидел огромные илистые пересохшие русла с вонючими болотцами и озерками, с жуткими тропинками, протоптанными женщинами и осликами, плетущимися в сумерках; нищий китайский старик-мексиканец поймал мой взгляд, и мы остановились поболтать, и когда я сказал ему, что, может быть, останусь dormiendo, спать в этой вот низине (на самом же деле я собирался осуществить это немного дальше, среди холмов), он взглянул на меня с ужасом и, поскольку был глухонемым, жестами показал, что меня там ограбят, отнимут рюкзак и убьют, если я так сделаю, и я вдруг понял, что это правда. Я уже не в Америке. По какую бы сторону границы ты ни был, как бы ни резал

---

[27] Примечания: 27
Полиции не знаешь? (исп.)

колбасу, а бездомный — везде бездомный. Где отыскать мне тихую рощицу, чтобы в ней медитировать, чтобы жить в ней вечно? После того, как старик на пальцах попытался рассказать мне историю своей жизни, я ушел от него, маша ему на прощанье рукой и улыбаясь, пересек низину и желтую от ила речку по узкому дощатому мостику и углубился в глинобитные бедные кварталы Мехикали, где мексиканская веселость, как обычно, очаровала меня, съел там полную оловянную миску вкуснейшего супа (garbanzo) с кусочками головы (cabeza) и сырым луком (cebolla), разменяв предварительно на границе четвертак на три бумажных песо и целую кучу громадных пенни. Ужиная в глиняной уличной забегаловке, я врубался в улицу, в людей, в несчастных собак, в кантины, в шлюх, в музыку, в мужчин, которые, дурачась, боролись посреди узкой дороги, а напротив был незабываемый салон красоты (Salon de Belleza) с голым зеркалом на голой стене, с голыми стульями и одной-едиственной семнадцатилетней красавицей, которая, заколов волосы булавками, грезила у этого зеркала, а рядом стоял старый гипсовый бюст с пудреным париком, за ним ковырялся в зубах здоровенный мужик с усами и в скандинавском лыжном сви-

тере, а у следующего зеркала маленький мальчик жевал банан, и снаружи, на тротуаре, собралась детвора и смотрела в витрину как в кино, и я подумал: о, в этом — всё Мехикали каким-нибудь воскресным днем! Благодарю тебя, Господи, за то, что вернул мне вкус к жизни, за Твои вечно возобновляющиеся формы в Утробе Твоего Щедрого Плодородия. Все слезы мои были не напрасны. В конце все обязательно получится.

Затем, прогуливаясь, я купил себе горячий пончик, потом у девочки — пару апельсинов, снова перешел по мосту в вечерней пыли и, счастливый, направился к пограничному шлагбауму. Но там меня остановили трое неприятных американских охранников и угрюмо стали рыться у меня в рюкзаке.

— Что вы купили в Мексике?

— Ничего.

Они мне не поверили. Они шарили внутри. Прощупав пакетики с остатками бомонтской жареной картошки, изюмом, орешками и морковкой, банки со свининой и бобами, которыми я запасся на дорогу, половину буханки пшеничного хлеба, они преисполнились отвращения и отпустили меня. На самом деле, это было смешно: они ожидали увидеть рюкзак, набитый опиумом

из Синалоа, травой из Мацатлана или героином из Панамы. Может, они думали, что я пришел из Панамы пешком. Они никак не могли меня вычислить.

Я пошел на автостанцию «грейхаундов» и купил билет — недалеко, до Эль-Сентро, где пролетала основная трасса. Я прикидывал, что поймаю аризонский «ночной призрак» и буду в Юме этой же ночью, посплю в долине Колорадо, которую отметил для себя уже давно. Но в Эль-Сентро все обломилось: я пошел на товарный двор, немного повил там петли и, наконец, заговорил с кондуктором, подававшим сигнал маневровому:

— А где «зиппер»?

— Он через Эль-Сентро не идет. — Я подивился собственной глупости. — Единственный товарняк, который ты можешь поймать, ходит через Мексику, потом Юма, но тебя там найдут и ссадят, и ты, парень, очутишься в мексиканской каталажке.

— Мексики с меня уже хватит, спасибо. — Поэтому я отправился в город на центральный перекресток, где машины сворачивали на восток, к Юме, и стал голосовать. Целый час не везло. Вдруг на обочине затормозил большой грузовик; водитель вышел и стал возиться со своим

чемоданом.

— Вы едете на восток? — спросил я.

— Как только передохну в Мехикали. Ты знаешь что-нибудь про Мексику?

— Прожил там несколько лет. — Он смерил меня взглядом. Это был такой добрый малый — толстый, счастливый, типичный парень со Среднего Запада. Я ему понравился.

— Покажешь мне сегодня вечером что почем в Мехикали, и я довезу тебя до Тусона.

— Клево! — Мы влезли в кабину и отправились обратно в Мехикали по той же самой дороге, по которой я только что проехал автобусом. Но если до самого Тусона, то оно того стоило. Мы оставили машину в Калехико, где теперь, в одиннадцать часов, все было тихо, перешли в Мехикали, и я увел его от ловушек для туристов в старые добрые салуны настоящей Мексики, где были девчонки по песо за танец, неразбавленная текила и веселье било ключом. Это была грандиозная ночь, он танцевал и оттягивался, фотографировался с сеньоритой и выпил примерно двадцать стопок текилы. Где-то посреди ночи мы закорешились с цветным парнем, он оказался каким-то гомиком, но ужасно смешным, и привел нас в бордель, а потом, когда мы оттуда выходили, мексиканский

мусор отобрал у него нож на пружине.

— За последний месяц эти сволочи крадут у меня уже третий, — сообщил он.

Наутро Бодри (шофер) и я вернулись к грузовику с мутными глазами и бодуном, и он не стал тратить времени попусту, а погнал прямиком в Юму, не заезжая в Эль-Сентро — по отличному пустому Шоссе 98 сотню миль напрямик после того, как вжарил под 80 у Грэй-Уэллс. Вскоре мы уже действительно въезжали в Тусон. За Юмой мы слегка пообедали, и теперь он сказал, что проголодался и хочет хорошенького бифштекса.

— Вот только в шоферских рыгаловках стейки для меня — слишком маленькие.

— Так ты притормози у какого-нибудь супермаркета на шоссе в Тусоне, я куплю двухдюймовый шмат мяса на косточке, потом встанем в пустыне, я разожгу костер и замастрячу тебе величайший стейк в твоей жизни. — Он на самом деле мне не поверил, но я так и сделал. Проехав городские огни Тусона, он в пылавших красных сумерках остановился посреди пустыни, я разложил костер из мескитовых веточек, потом подбросил бревнышек побольше, пока темнело, а когда угли раскалились, попытался подержать стейк над ними на палочке, но палочка сгорела,

поэтому я просто поджарил гигантские бифштексы в собственном соку на своей славной новой крышке от котелка, протянул ему складной нож, он накинулся на них и сказал:

— Хм, ом, ух — это самый лучший стейк, который я ел.

Еще я купил молока, на ужин у нас больше ничего не было — бифштексы и молоко, сплошной белок; мы сидели на корточках в песке, а мимо нашего красного костерка проносились по шоссе машины.

— Где ты научился всем этим смешным штукам? — смеялся он. — И знаешь: я говорю «смешным», но в них есть что-то дьявольски разумное. Вот я ношусь тут до смерти на этом драндулете между Огайо и Л. А., туда и назад, и зашибаю больше, чем у тебя было за всю твою бродяжью жизнь, но жизнью-то наслаждаешься ты, и мало того — ты это делаешь, не работая и не зашибая. Кто из нас ловчее по жизни — ты или я? — А ведь у него в Огайо был славный дом, жена, дочка, новогодняя елка, две машины, гараж, газон перед домом, газонокосилка, но он не мог всем этим наслаждаться, потому что не был, на самом деле, свободен. Печально, но так. Это не значило, что я чем-то лучше его: он замечательный человеком,

и мне он нравился, и я нравился ему, и он сказал:
— Я тебе вот что скажу: а не довезти ли мне тебя до Огайо?

— Ух как четко! Да я там уже почти дома буду! Я еду южнее, в Северную Каролину.

— Я еще сомневался вначале — из-за страховых инспекторов «Маркелла»: видишь ли, если тебя застукают в моей машине, я вылечу с работы.

— Ох, черт… Ну не типично ли это?

— Типично, конечно, но я вот что тебе скажу после того, как ты мне этот бифштекс сделал, хоть я и заплатил за него, но ты его приготовил и теперь вот оттираешь песком сковородку: мне им-таки придется сказать, чтобы они засунули эту работу себе в зад, поскольку теперь ты мне друг, а у меня есть право подбросить моего друга туда, куда ему надо.

— Ладно, — сказал я, — а я буду молиться, чтобы нас никакие инспекторы не поймали.

— А это вполне запросто, потому что сегодня суббота, и мы будем в Спрингфилде, Огайо, где-то рано утром во вторник, если я этот драндулет разгоню как следует, а выходные у них уже более или менее закончатся.

Ну и разогнал же он действительно этот свой драндулет! Из аризонской пустыни он долетел

до Нью-Мексико, срезал угол через Лас-Крусес до самого Аламогордо, где впервые рванули атомную бомбу, а у меня было странное видение: пока мы ехали, в облаках над горами Аламогордо я видел слова, будто напечатанные в небе: «Такова Невозможность Существования Чего Бы То Ни Было» (действительно странное место для такого странного истинного видения), а затем он пролетел по прекрасной земле индейцев атаскадеро в холмистых зеленых долинах Нью-Мексико с соснами и округлыми новоанглийскими лугами, потом вниз, в Оклахому (за Боуи, Аризона, мы немножко вздремнули на заре, он — в кабине, я — в своем спальнике на холодной красной глине, и только звезды пылали молчанием над головой, да койот вдали), не успел я и глазом моргнуть, как он уже несся через Арканзас и заглотил его целиком всего лишь за один день, а затем — Миссури и Сент-Луис, и, наконец, ночью в понедельник пролетел сквозь Иллинойс и Индиану — и прямо в старый заснеженный Огайо, где миленькие новогодние огонечки в окнах старых ферм веселили мне сердце. Ух ты, — думал я, — какой переход от теплых рук сеньорит Мехикали к рождественским снегам Огайо — и всего за одну поездку. У него в приборной доске было радио, и он его к

тому же выкручивал на полную катушку. Много мы не разговаривали, он лишь вопил что-то время от времени, рассказывал анекдоты — у него был такой громкий голос, что мне на самом деле пробило барабанную перепонку (в левом ухе), она болела, и я от его голоса подскакивал на сиденье на два фута. Он был великолепен. Мы много раз плотно ели по дороге, в разных его любимых шоферских забегаловках — одна в Оклахоме, где была жареная свинина с ямсом, достойная кухни моей собственной мамочки, — мы там всё ели и ели, он постоянно был голоден, да и я тоже, поскольку теперь было по-зимнему холодно, на поля опустилось Рождество, а еда была хороша.

В Индепенденсе, Миссури, мы сделали нашу единственную остановку, чтобы поспать под крышей — в отеле почти по пять долларов с носа: чистый грабеж, но ему нужно было выспаться, а я не мог ждать его в машине, где было ниже нуля. Когда я в понедельник утром проснулся, то выглянул и увидел, как целеустремленные люди в строгих костюмах идут на работу в свои страховые компании, надеясь когда-нибудь стать важными гарри трумэнами. На рассвете во вторник он высадил меня в центре Спрингфилда, Огайо, прямо в глубокий холодный сугроб, и мы

попрощались лишь чуть-чуть печально.

Я зашел в кафе, выпил чаю, прикинул свой бюджет, потом отправился в гостиницу и хорошенько выспался — я был совершенно измотан. Затем купил билет на автобус до Роки-Маунт, поскольку из Огайо в Северную Каролину стопом ехать было невозможно по всей этой зимней погоде, через Голубой Хребет и все остальное. Но мне не терпелось, и я все равно решил двигаться стопом, поэтому попросил водителя притормозить на окраине и пешком пошел обратно на автостанцию сдавать билет. Денег возвращать они мне не хотели. Кульминацией всего моего безумного нетерпения стало то, что я вынужден был ждать еще восемь часов следующего медленного автобуса на Чарльстон, Западная Виргиния. Я начал голосовать из Спрингфилда, рассчитывая догнать свой автобус где-нибудь в городке по дороге, просто ради прикола, отморозил себе руки и ноги, стоя на мрачных сельских трактах в морозных сумерках. За одну хорошую поездку я добрался до какого-то городишки, где остался ждать на крохотной почте, которая вместе с телеграфом служила и автостанцией, пока не прибыл мой автобус. К этому времени он уже был битком набит, медленно полз по горам всю ночь, а на заре

тяжело полез через Голубой Хребет с прекрасными заснеженными лесами по сторонам, а потом, под конец целого дня остановок и рывков, рывков и остановок, выбрался из гор в Маунт-Эйри и еще через целую вечность — в Рэйли, где я пересел на местный, объяснив шоферу, где именно надо остановить — у съезда на старую грунтовку, которая три мили петляла по соснякам к дому моей матери в Биг-Изонбург-Вудз, деревенском перекрестке под Роки-Маунт.

Он меня высадил около восьми вечера, и я прошел эти три мили по молчаливой морозной каролинской дороге под луной, следя за реактивным самолетом над головой: след от него расплылся по лунному лику и рассек снежный круг. Прекрасно вернуться на Восток, в рождественские снега, к огонькам в окнах случайных ферм, в тихие леса, на поросшие сосняком пустоши, такие голые и унылые, к железной дороге, убегающей в серо-голубые лесные дали, к моей мечте.

В девять я уже топал с набитым рюкзаком через матушкин двор, а она стояла у белой кафельной раковины на кухне, мыла посуду, поджидая меня с удрученным выражением на лице (я опаздывал), тревожась, а вдруг я вовсе не доеду, и,

возможно, думая: «Бедный Рэймонд, почему ему всегда обязательно надо ездить стопом и волновать меня до полусмерти, почему он не такой, как другие?» А я думал о Джафи, пока стоял на холодном дворе и смотрел на нее: «Почему он так злится на белые раковины и "кухонную машинерию", как он ее называет? У людей бывают добрые сердца, живут они, как Бродяги Дхармы, или нет. Сострадание — вот сердце буддизма.» За домом начинался огромный сосновый бор, в котором я проведу всю эту зиму и засну, медитируя под деревьями и самостоятельно постигая истину всех вещей. Я был очень счастлив. Я ходил вокруг дома и разглядывал в окна новогоднюю елку. В сотне ярдов ниже по дороге витрины двух деревенских магазинов ярким теплым светом озаряли тусклую горестную пустоту. Я подошел к конуре и поздоровался со стариной Бобом, который вздрагивал и фыркал на холоде. Он заскулил от радости при виде меня. Я отстегнул его, он взвизгнул и запрыгал вокруг, и мы вместе вошли в дом, где я обнял маму в теплой кухне, из гостиной вышли поздороваться моя сестра с мужем и маленький племянник Лу, и я снова был дома.

19

Они все хотели, чтобы я спал на кушетке в гостиной, рядом с удобной печкой, мне же снова хотелось поселиться (как и прежде) на задней веранде с ее шестью окнами, выходящими на зимнее нагое хлопковое поле, расстелить там на кушетке свой старый добрый спальник, чтобы спать чистым сном зимних ночей, засунув голову поглубже во внутреннее гагачье тепло под гладким нейлоном. Когда все легли спать, я надел куртку и шапочку с наушниками, железнодорожные перчатки, а поверх всего этого — нейлоновую накидку, и вышел, словно какой-нибудь монах под покровом, в поле при свете луны. Землю покрывал лунный иней. Старое кладбище дальше по дороге посверкивало на морозе. Крыши ближних ферм были словно белые плиты снега. Я прошел по рядам хлопкового поля вместе с Бобом, большой ищейкой, и маленьким Сэнди, принадлежавшим Джойнерам, которые жили ниже, и еще несколькими бродячими собаками (все собаки меня любят), и подошел к лесной опушке. Там предыдущей весной я протоптал тропинку, когда

ходил медитировать под свою любимую сосенку. Тропинка сохранилась. На месте были и мои торжественные врата в лес — две молодые сосны, как столбы на равном расстоянии от тропки. Я всегда склонялся перед ними, прижимая к груди руки, и благодарил Авалокитешвару за то, что даровал мне этот лес. Затем я вошел и привел Боба прямо к своей сосне, под которой по-прежнему лежала старая куча соломы. Я поправил накидку, садясь, сложил ноги и стал медитировать.

Собаки медитировали стоя. Никто из нас не издавал ни звука. Вся эта лунная местность была морозно молчалива, нигде не потрескивали веточками ни кролики, ни еноты. Абсолютная, холодная, благословенная тишина. Может, только в пяти милях к Сэнди-Кроссу лаяла собака. Лишь слабенький, еле слышный звук больших грузовиков, катящихся в ночи по 301-му, милях в двенадцати отсюда, да, конечно же, время от времени — дальнее блеянье дизелей пассажирских и грузовых составов Атлантической Береговой линии, идущих на север и на юг — в Нью-Йорк и Флориду. Благословенная ночь. Я сразу же погрузился в пустой бездумный транс, в котором мне вновь было явлено: «Это мышление остановилось,» — и я вздохнул, поскольку мне больше

не нужно было думать, и я ощущал, как мое тело тонет в благословенности, которой нельзя не поверить, совершенно успокоенный, примиренный со всем эфемерным царством сна, сновидца и самого сновидения. И еще — всевозможные мысли, вроде: «Один человек, практикующий доброту в глуши, стоит всех храмов, воздвигнутых этим миром,» — и я протянул руку и погладил старину Боба, который довольно посмотрел на меня. Все живущие и умирающие, вроде этих вот собак и меня, приходят и уходят без всякой длительности или само-субстанции, о Боже, — и значит, нам невозможно существовать. Как странно, как достойно, как хорошо для нас! Вот был бы ужас, если бы мир оказался реален, потому что если б мир был реален, он был бы бессмертен. Мое нейлоновое пончо защищало меня от холода, как хорошо подогнанная палатка, и я долго сидел, скрестив ноги, в зимнем полночном лесу — около часа. Затем вернулся домой, согрелся у огня в гостиной, пока остальные спали, скользнул в свой спальник на задней веранде и крепко уснул.

На следующую ночь был Сочельник, и я провел его с бутылкой вина перед телевизором: с удовольствием смотрел все шоу и полночную мессу из Собора Святого Патрика в Нью-Йорке — там

служили епископы, блистали догмы, паства, священники в своих белоснежных кружевных облачениях перед громадными официальными алтарями — не стоившими и половины моей соломенной подстилки под сосной, как я считал. Потом, уже в полночь, маленькие родители — моя сестра с мужем, — затаив дыхание, раскладывали подарки под елкой — гораздо более славные, чем вся «Слава в Вышних Богу» Римской Церкви и всех ее прислужников-епископов. Ибо в конце концов, — думал я, — Августин был черномазым, а Франциск — мой недоразвитый брат. Кот Дэйви внезапно благословил меня, милая киска, прыгнув мне на колени. Я вытащил Библию и немного почитал Святого Павла у теплой печки при свете елочных огней: «Пусть станет невеждой, чтобы стать мудрецом,» — и подумал о дорогом добром Джафи, и пожалел, что он не наслаждается этой новогодних ночью со мною вместе. «Уже наполнены вы, — говорил Святой Павел, — уже стали богатыми. Святые будут судить мир.» Затем, всплеском прекрасной поэзии, прекраснее, чем все поэтические вечера сан-францисских Возрождений Времени: «Мяса для желудка, а желудок — для мяс; но Господь сведет к ничто и его, и их».

Ага, — подумал я, — платишь собственным

носом за преходящие зрелища…

Всю неделю я был дома один: мать уехала в Нью-Йорк на похороны, остальные домашние работали. Каждый день я уходил в сосновые леса со своими собаками, читал, учился, медитировал под теплым зимним южным солнышком, потом возвращался и в сумерках готовил для всех ужин. Кроме этого, я приколотил корзину и каждый вечер играл в баскетбол. По ночам, когда все ложились спать, я снова отправлялся в леса под светом звезд, а иногда — и под дождем со своим пончо. Леса принимали меня хорошо. Я развлекался тем, что сочинял крохотные стихотворения в духе Эмили Дикинсон: «Зажги свечу, ответь лжецу; к чему старанье и существованье?» — или: «Семя арбуза желанье разбудит, сочно нахлынет — вот тирания».

Пускай будет оттяг и блаженство навеки, — молился я в лесах по ночам. Я придумывал все новые и лучшие молитвы. И новые стихи, вроде тех, когда выпал снег: «Нечастый снег святой, в ненастье поклон живой,» — а однажды записал «Четыре неизбежности: 1. Заплесневевшие Книги, 2. Неинтересная Природа, 3. Скучное Существование, 4. Пустая Нирвана — ничего не попишешь, парень». Или скучными днями, когда

ни буддизм, ни поэзия, ни вино, ни одиночество, ни баскетбол не приносили пользы моей ленивой, но старательной плоти, писал: «Нечего делать: практически хоть подыхай с тоски». Как-то днем я наблюдал за утками на выгоне через дорогу, а это было воскресенье, и громогласные проповедники орали по каролинскому радио, и я написал: «Представь себе благословение всех живущих и умирающих червей в вечности и уток, которые ими питаются… и вот тебе вся проповедь воскресной школы». Во сне я услышал слова: «Боль — это лишь выдох наложницы». Но у Шекспира было бы так: «Да, в моей вере этот мерзлый звук». Потом как-то вечером, после ужина, я мерял шагами продуваемую ветром холодную тьму двора, как вдруг ощутил невероятное уныние, бросился наземь и вскричал:

— Я умру! — потому что в холодном одиночестве жестокой, негостеприимной земли больше ничего не оставалось, и сразу же нежное блаженство просветления молоком пролилось мне на веки, и мне стало тепло. И я осознал, что такова истина, которую теперь знала Рози, и знали все мертвые — и мой покойный отец, и мой покойный брат, и покойные дядья, двоюродные братья и тетки, — истина, постигаемая костями мерт-

вого человека, за пределами как Дерева Будды, так и Креста Иисуса. Верьте, что мир — лишь эфемерный цветок, и будете жить. Я это знал! Еще знал, что я — худший бичара на целом свете. Алмазный свет сиял в моих глазах.

Кот замяукал, глядя на ледник в нетерпении увидеть, что это там за милые и славные удовольствия. Я накормил его.

20

Немного погодя мои медитации и занятия стали приносить плоды. По-настоящему это началось в конце января, как-то морозной ночью в лесу, в мертвом молчании мне показалось, что я слышу слова: «Все в порядке навсегда, навсегда и навсегда». Я испустил громкое «хоо!» — час ночи, собаки переполошились и возрадовались. Мне хотелось вопить звездам. Я прижал к груди руки и молился:

— О, мудрый и умиротворенный дух Пробудителя, все в порядке навсегда, навсегда и навсегда, и благодарю тебя, благодарю тебя, благодарю тебя, аминь. — Что мне до башни упырей, до спермы, костей и праха — я чувствовал себя свободным и, значит, был свободен.

Мне вдруг захотелось написать Уоррену Кафлину, который отчетливо возник передо мной, когда я припомнил его скромность и вообще молчаливость посреди тщетных воплей Алвы, Джафи и моих собственных: «Да, Кафлин, именно сияющая теперешнесть — это мы создали ее, — внесла Америку, будто на сияющем одеяле, в более яркое,

нигдешнее Уже».

В феврале потеплело, земля начала немного оттаивать, и ночи в лесу стали мягче, а мой сон на задней веранде — радостнее. Звезды, казалось, повлажнели в небе, увеличились. Под звездами я, бывало, и задремывал, сидя по-турецки под своим деревом, и мой полусонный разум вопрошал: «Моав? Кто такой Моав?» — и я просыпался с репейником в руке, с хлопковой колючкой, снятой с какой-нибудь из собак. Проснувшись вот так, я сочинял мысль, вроде: «Все это разные проявления одного и того же — моя сонливость, репейник, Моав, — все это один эфемерный сон. Все принадлежит одной и той же пустоте, чтоб ей!» После я пропускал эти слова через свой разум, чтобы натренировать себя: «Я пустота, я ничем не отличаюсь от пустоты, и пустота ничем не отличается от меня; в действительности же пустота есть я.» Там была лужица воды, и в ней сверкала звездочка, и я плевал в эту лужицу, звезда уничтожалась, и я говорил:

— Эта звезда реальна?

Я не совсем забывал, что после этих вот полночных медитаций могу вернуться к хорошему теплому огню, любезно оставленному мне свояком, которому уже слегка приподнадоело, что я

только болтаюсь по дому и не работаю. Однажды я прочел ему откуда-то строчку о том, как человек растет через страдание, а он ответил:

— Если растешь через страдание, то я к этому времени уже должен быть с дом.

Когда я заходил в деревенскую лавку купить хлеба и молока, старичье, посиживавшее там посреди бамбуковых шестов и бочонков с патокой, спрашивало:

— А что ты там делаешь в этих лесах?

— Я просто хожу туда учиться.

— Староват ты что-то для студента-то, а?

— Ну, иногда я просто хожу туда поспать.

Но и я наблюдал, как они шляются целыми днями по полям, ища, чем бы заняться, чтобы их жены думали, что они — настоящие занятые и трудолюбивые мужья, — меня-то им не обдурить тоже. Я знал, что в глубине души им тоже хочется поспать в лесочке или посидеть там, ничего не делая, — чем не было стыдно заниматься мне. Они никогда меня не доставали. Как я мог объяснить им, что мое знание было знанием того, что вещество, из которого состоят мои кости, их кости и кости всех мертвецов земли во время ночного дождя, — это общее вещество каждого в отдельности, вечно уравновешенное

и блаженное? К тому же, поверят они этому или нет — неважно. Как-то ночью, сидя под своим дождевиком в натуральный ливень, я придумал песенку под аккомпанемент капель, стучавших по резиновому капюшону: «Капли дождя — исступленье, капли дождя ничем не отличаются от исступленья, и исступленье ничем не отличается от капель дождя, да, исступленье — это капли дождя, дожди дальше, о туча!» Поэтому какое мне дело до того, что старые жеватели табака и строгатели палочек в лавке на деревенском перекрестке могут говорить о моих смертных причудах, все равно мы все сгнием в могилах. Я как-то раз даже немного напился с одним из этих стариков, мы поехали кататься по сельским дорогам, и я на самом деле рассказал ему, как сижу и медитирую в этих лесах, и он действительно вроде как понял и сказал, что тоже хотел бы так попробовать, если бы у него было время или если б хватило выдержки, и в его голосе слегка звучала горестная зависть. Все всё знают.

21

Весна наступила после сильных дождей, которые всё вымыли, и коричневые лужи разлились по влажным, увядшим полям. Сильные теплые ветры взбивали в сухом воздухе белоснежные облака, налетавшие на солнце. Золотые деньки, по ночам — прелестная луна, тепло, одинокая осмелевшая лягушка заводит свою хриплую песню в «Ручье Будды», где я устроил себе новое соломенное место под перекрученными деревьями-близнецами вокруг маленькой прогалины среди сосен, на сухой травяной полянке у крохотного ручейка. Туда как-то днем со мною пришел мой племянник Лу, и я поднял кое-что с земли, молча протянул ему, сидя под деревом, и маленький Лу, сидя напротив, спросил:

— Что это? — И я ответил:

— Это. — И покачал ею из стороны в сторону, повторяя: — Татхата… Это… Это — это. — И лишь когда я сказал ему, что это сосновая шишка, он у себя в воображении вынес суждение о словосочетании «сосновая шишка», ибо действительно, как говорится в сутре: «Пустота — это разделение,»

— и сказал:

— Моя голова выпрыгнула, а мозги скрючились, а глаза стали похожи на огурцы, и на лбу вихор закрутился, и этот вихор лизнул меня в подбородок. — Потом он произнес: — Почему бы мне не сочинить стих? — Ему хотелось запечатлеть это мгновенье.

— Давай, только сочиняй сразу, вот как говоришь.

— Ладно… «Сосны волнуются, ветерок пытается что-то прошептать, птички говорят чик-чик-чик, а ястребы летят — вжик-вжик-вжик…» Ого, нам грозит опасность.

— Почему?

— Ястреб — вжик-вжик-вжик!

— И что потом?

— Вжик! Вжик!.. Ничего. — Я стял раздувать свою молчащую трубку, на сердце у меня было мирно и покойно.

Я назвал свой новую рощицу «Рощей Деревьев-Близнецов», потому что два ствола, на которые я опирался, обвивались друг вокруг друга, седая ель белым сияла в ночи, показывая мне, куда идти, за сотни футов, хотя старина Боб тоже всегда верно меня вел, белея на темной тропе. На ней как-то ночью я потерял свои четки, подарок Джафи, но

на следующий день нашел их прямо на дороге и подумал: «Дхарму нельзя потерять — ничего нельзя потерять на хорошо утоптанной тропе».

Теперь наступили ранние весенние утра со счастливыми собаками, и я забывал про Тропу Буддизма и просто радовался; разглядывал новых птичек, еще не нагулявших летний жирок; собаки зевали, едва не глотая мою Дхарму; трава шла волнами, наседки клохтали. Весенними ночами я практиковал Дхьяну под облачной луной. Мне виделась истина: «Здесь, вот — Оно, Мир как он есть — это Небеса, я ищу Небеса вне того, что есть, только этот бедный жалкий мирок — Небеса. Ах, если б я мог осознать, если б я мог забыть себя и посвятить свои медитации освобождению, пробуждению и благословенности всех живых существ везде, я бы понял тогда: то, что есть, — и есть исступление».

Долгими днями я просто сидел на соломе, пока не уставал «думать ни о чем» и не засыпал, видя маленькие вспышки снов, подобно тому странному сну, когда я оказался на каком-то сером призрачном чердаке: я втягивал наверх чемоданы серого мяса, которые подавала мне снизу мать, а я раздраженно ныл: «Я больше не спущусь!» (чтобы выполнять эту мирскую работу).

Я ощущал себя пробелом, призванным наслаждаться исступлением бесконечной истинности.

Дни катились за днями, я не снимал своей робы, не причесывался, часто не брился, меня сопровождали лишь кошки и собаки, я снова жил счастливой жизнью детства. Тем временем я написал письмо и на лето получил место пожарного наблюдателя Лесной Службы США на пике Опустошения в Больших Каскадах, в штате Вашингтон. Поэтому в марте я собирался двинуться к хижине Джафи, чтобы оказаться поближе к своей летней заботе в Вашингтоне.

По воскресные дням родня хотела, чтобы я ездил с ними на машине, но я предпочитал оставаться в одиночестве дома; они бесились и говорили:

— Да что это с ним такое? — а я слышал, как они спорят в кухне о тщетности моего «Буддизма», потом все садятся в машину и уезжают, а я после этого входил в кухню и пел «Столы опустели и все ушли» на мотив «Ты учишься блюзу» Фрэнка Синатры. Крыша у меня совсем поехала, и я тащился как шланг. И вот, днем в воскресенье я уходил к себе в леса вместе с собаками, усаживался, вытягивал рука ладонями вверх и ловил пригоршни солнца, кипевшего в пальцах.

— Нирвана — это движущаяся лапа, — говорил я, видя первое, что попадалось на глаза, когда я открывал их после медитации: то была лапа Боба, шевелящаяся в трава, пока он спал. После этого я возвращался в дом по своей ясной, чистой, хорошо хоженной тропе и ждал ночи, когда снова можно будет увидеть бессчетных Будд, прячущихся в воздухе, пропитанном лунным светом.

Но мое безмятежное спокойствие было, в конце концов, нарушено примечательным спором со свояком: он воспротивился тому, что я постоянно отвязываю Боба и беру его с собою в лес.

— Я слишком много денег вложил в этого пса, чтобы ты спускал его с цепи.

— А тебе бы понравилось сидеть привязанным весь день и плакать, как он?

— Меня это не волнует, — ответил он, а моя сестра добавила:

— А мне плевать.

Я так рассвирепел, что выбежал из дому и скрылся в лесах — стоял воскресный день, и я твердо решил сидеть там без еды до самой полночи, потом вернуться, сложить ночью вещи и уехать. Но через несколько часов мама стала звать меня с заднего крыльца на ужин, я идти не хотел; наконец, к моему дереву вышел малень-

кий Лу и упросил меня вернуться.

В ручейке у меня жили лягушки, начинавшие квакать в самое неподходящее время, прерырая мои медитации как бы по какому-то особому замыслу: как-то в самый полдень одна проквакала трижды и замолчала на весь остаток дня, будто толковала мне Тройное Средство. Теперь же моя лягушка квакнула раз. Я почувствовал, что это сигнал, означающий Одно Средство Сострадания, и отправился обратно, намереваясь не обращать внимания на все это дело — и даже на собственную жалость к собаке. Что за грустная и бесполезная греза. Опять сидя в лесу той ночью и перебирая четки, я читал вот такие любопытные молитвы: «Моя гордость ущемлена, это пустота; я горжусь своею добротой к животным, это пустота; мое представление о цепи, это пустота; жалость Ананды, даже это пустота». Может, если бы в наличии имелся кто-нибудь из старых учителей Дзэна, он бы вышел и пнул свою собаку на цепи, чтобы внезапно задвинуть всех пробуждением. У меня все равно не выходило избавиться от представления о людях и собаках — и о себе самом. Глубоко во мне все болело от печальной задачи: пытаться отрицать то, что есть. В любом случае, воскресным днем в деревне разыгралась

трогательная маленькая драма: «Рэймонд не хочет, чтобы собачка сидела на цепи». Но потом вдруг ночью, под деревом меня посетила ошеломляющая мысль: «Все пусто, но пробуждено! Вещи пусты во времени, пространстве и разуме». Я прикинул так и этак, и на следующий день, возбужденный, почувствовал, что пришло время объяснить все моим домашним. Они смеялись как никто другой.

— Но послушайте! Нет! Смотрите! Это просто, давайте, я разложу вам это просто и доступно, как могу. Все вещи — пусты, правильно?

— Что значит «пусты»? Я ведь держу апельсин в руке, верно?

— Он пуст, все пусто, вещи приходят только для того, чтобы уйти, все сделанное должно уничтожиться, а уничтожиться оно все должно лишь потому, что оно было сделано!

Но никто не хавал даже этого.

— Ты со своим Буддой — почему бы тебе не заняться той религией, с которой родился? — спрашивали мать и сестра.

— Все ушло, уже ушло, уже пришло и ушло, — вопил я. — Ах! — Я топал по комнате, снова возвращался к ним: — Все вещи пусты, потому что они появляются, правда? — вы их видите, но они

состоят из атомов, которые нельзя измерить, или взвесить, или пощупать, даже тупицы-ученые теперь это знают: не может произойти никакой находки так называемого самого маленького атома, вещи — лишь пустые порядки чего-то, что кажется прочным, появляясь в пространстве, они, к тому же, не большие и не маленькие, не далекие и не близкие, не истинные и не ложные, они лишь призраки — простые и чистые.

— Призрачки! — в изумлении закричал малыш Лу. Он на самом деле был со мною согласен, вот только боялся того, что я твердил о «призрачках».

— Послушай, — сказал мой свояк, — если бы вещи были пустыми, то как бы я мог чувствовать этот апельсин, и даже пробовать его и жевать, ответь-ка ты мне, а?

— Твой разум различает апельсин, видя его, слыша его, касаясь его, нюхая его, пробуя его и думая о нем, но без этого разума, посуди сам, ты бы апельсина ни видел, ни слышал, ни обонял, ни ощущал, ни даже отмечал бы в уме, он действительно — этот апельсин, само его существование — зависит от твоего разума! Неужели ты этого не видишь? Сам по себе он — не-вещь, он, на самом деле, ментален, он видим только твоим умом.

Иными словами, он пуст и пробужден.

— Ну, если это даже и так, то мне все равно наплевать. — Весь в порыве, я отправился той ночью обратно в лес и подумал: что это означает, что я — вот в этой бесконечной вселенной, думаю, что я — человек, сидящий под звездами на террасе земли, а на самом деле — пуст и пробужден по всей пустоте и пробужденности всего? Это означает, что я пуст и пробужден, что я знаю, что я пуст, пробужден, и что нет разницы между мной и чем-то еще. Другими словами, это значит, что я стал таким, как всё остальное. Это значит, я стал Буддой. Я действительно так чувствовал и верил в это, и ликовал от того, что мне теперь будет что сказать Джафи, когда вернусь в Калифорнию. По крайней мере, он-то уж выслушает, дулся на родственников я. Я испытывал огромное сострадание к деревьям, поскольку мы были одним и тем же; я ласкал собак, которые никогда со мною не спорили. Все собаки любят Бога. Они мудрее своих хозяев. Я так и сказал им, они слушали меня, навострив уши и облизывая мне лицо. Так или иначе, им было все равно, лишь бы я был рядом. Святой Рэймонд Собачий — вот кем я был в том году, если не кем-то или не чем-то другим.

Иногда я просто сидел в лесу и не мигая смотрел

на сами вещи, все равно пытаясь предугадать тайну существования. Я смотрел на святые, желтые, длинные клонившиеся стебли напротив моего соломенного коврика — Татхагаты, Сиденья Чистоты, — а те кланялись во все стороны и переговаривались, сплетаясь волосами, а ветры диктовали им: «Та Та Та,» — кучками сплетников, и некоторые одинокие стебли-гордецы красовались по одну сторону, а больные или полумертвые уже совсем падали — целая паства живой травы внезапно занималась колокольным звоном на ветру, спохватывалась, переполошившись, вся из желтого, потом приникала к земле, и я думал: вот оно.

— Роп-роп-роп, — кричал я траве, и она показывала мне направление ветра своими разумными султанчиками — их трепало и мотыляло, и некоторые цеплялись корешками за цветущую землю воображения, за влажную идею коловращения, подвергшую карме сами их корешки со стебельками… жутко. Я засыпал, и мне снились слова: «Этим учением земля пришла к своему концу,» — и снилась моя мама, она торжественно кивала всей своею головой, умф, а глаза закрыты. Какое мне дело до всяких докучливых болячек и нудных несправедливостей мира, человеческие кости

— лишь волынка тщетных линий, вся вселенная — незаполненная отливка звезд. Я — Бхикку, Пустая Крыса, — снилось мне.

Какое мне дело до вяканья малюсенького «я», скитающегося где-то там? Я имел дело с вышвырнутостью, с отрезанностью, с отчиканностью, с выдутостью, с отставленностью, с отключенностью — отщелкнутое звено, нир-, вот оно, — вана, щелк! Прах моих мыслей собрался в сферу, думал я, в этом нестареющем одиночестве, думал я и улыбался по-настоящему, потому что видел белый свет, наконец-то — везде и во всем.

Однажды ночью под теплым ветром сосны шептались глубоко, и я начал испытывать то, что на санскрите называется «Самапатти» — Трансцендентальные Посещения, Разум мой обволокла легкая дрема, но физически я каким-то образом бодрствовал — сидел выпрямившись у себя под деревом, как вдруг увидел цветы, розовые вселенные их стен поднимались вокруг, нежно-розовые, в шипящем шуме молчащих чащ (достигнуть нирваны — это как точно определить тишину), и передо мною возникло древнее видение Дипанкары Будды — того Будды, который никогда ничего не говорил: он был словно огромная заснеженная пирамида, с кустистыми червыми бровями как у

Джона Б. Льюиса и ужасным взглядом, и весь он был в одном древнем месте — на снежном поле, вроде Альбана («Новое поле!» — кричала проповедница-негритянка), и от всего этого видения волосы у меня встали дыбом. Я помню странный, магический последний клич, вырвавшийся у меня, что бы он ни означал: Кольяколёр! Оно, видение это, было лишено всякого ощущения того, что я — это я, оно было чистейшей безэгостью, простым необузданным эфирным занятием, лишенным всяческих неправильных предикатов… лишенным усилия, лишенным ошибки. Все в порядке, думал я. Форма — это пустота, а пустота — это форма, и мы здесь навсегда в той форме или в иной, и все они пусты. Мертвые достигли лишь этого одного — насыщенного молчащего шороха Земли Чистого Пробуждения.

Мне хотелось, чтобы крик мой летел над лесами и крышами всей Северной Каролины, неся весть о славе великолепной и простой истины. Потом я сказал:

— Рюкзак у меня полностью затарен, сейчас весна, я собираюсь ехать на Юго-Запад, в сухие земли, в долгие, одинокие земли Техаса и Чихуахуа и на веселые ночные улицы Мехико, где из дверей вырывается музыка, где девчонки,

вино, трава, дурацкие шляпы, вива! Какая вообще разница? Как муравьям, которым больше нечего делать — только копошиться весь день, мне тоже ничего не остается, кроме как делать то, чего хочется, быть добрым и наперекор всему оставаться под воздействием воображаемых суждений, и молиться, чтобы на меня пролился свет. — Итак, сидя под сенью своего Будды, меж этих «кольяколёрных» стен из цветов — розовых, красных, матово-белых, среди вольера сказочных трансцендентных птиц, признавших мой пробуждающийся разум жуткими сладкими криками (жаворонок, не ведающий троп), в благоухании эфира, таинственно древний, в блаженстве полей Будды я видел, что вся моя жиань — громадная пылающая чистая страница, и я могу сделать все, что захочу.

На следующий день произошла странная вещь: вот какую истинную силу обрел я от этих волшебных видений. Моя мать кашляла уже пять дней, у нее текло из носа, и теперь начинало болеть горло — так сильно, что кашель становился мучительным и казался мне опасным. Я решил погрузиться в глубокий транс и загипнотизировать себя, постоянно напоминая, что «Всё пусто и пробуждено», — чтобы исследовать

причину маминой болезни и найти средство от нее. Незамедлительно я с закрытыми глазами увидел бутылку из-под бренди, в которой, как я рассмотрел чуть позже, было растирание «от жара», а сверху, наложенное как в кино, проступило четкое изображение беленьких цветочков, круглых, с маленькими лепестками. Я сразу же поднялся — была полночь, и мама кашляла у себя в спальне, — пошел и собрал все горшки с амарантами, которые моя сестра расставила по всему дому за неделю до этого, и выставил их наружу. Потом вытащил из аптечки лекарство с надписью «от жара» и велел маме натереть им шею. На следующий день кашель у нее прошел. Позже, когда я уже уехал стопом на Запад, наша приятельница-медсестра услыхала про это и сказала:

— Да, похоже, аллергия на цветы. — В течение всего этого происшествия я совершенно ясно знал, что люди заболевают, используя физические возможности, чтобы наказать самих себя, — так им велит их саморегулирующаяся Божеская природа, природа Будды, природа Аллаха, как хотите, так Бога и называйте, и все именно так — автоматически — работает. Это было мое первое и последнее «чудо», поскольку я боялся

слишком увлечься этим и стать тщеславным. И еще я немножко боялся всей этой ответственности.

Вся родня слыхала про мое видение и про то, что я сделал, но они, кажется, большого значения этому не придали: да и сам я, в действительности, тоже. И это правильно. Теперь я был невероятно богат — сверхмириадный триллионер трансцендентальных благодатей Самапатти, и все из-за доброй смиренной кармы, а может — и из-за того, что я пожалел собаку и простил людей. Но зато теперь я знал, что я — наследник блаженства, и что последний, самый худший грех — это праведность. Поэтому я просто заткнусь и отправлюсь-ка в путь-дорогу, повидать Джафи. «Пусть тоска не испортит тебя,» — поет Фрэнк Синатра. Последней ночью в лесу, накануне отъезда, я услышал слова «звездное тело» — о том, как вещам не надо делаться, чтобы исчезнуть, им надо лишь пробудиться навстречу своему непревзойденно чистому истинному и звездному телу. Я видел, что ничего нельзя было сделать, потому что ничего не происходило, ничего никогда не произойдет, все вещи — пустой свет. Поэтому я пустился в путь хорошо укрепленным, со своим рюкзаком, и поцеловал маму на прощанье. Она

заплатила пять долларов за то, чтобы на мои старые сапоги наклеили новенькие толстые резиновые подошвы с протекторами, и я теперь был совсем готов к летней работе в горах. Наш старый приятель из деревенское лавки, Бадди Том, такой тип сам по себе, подбросил меня на своей тачке до Шоссе 64, и здесь мы с ним расстались, и я начал отсчитывать свои три тысячи миль обратно в Калифорнию. Снова домой я попаду на следующее Рождество.

22

Джафи тем временем дожидался меня в своей славной хибарке в Корте-Мадера, Калифорния. Он поселился на хуторе у Шона Монахана — в бревенчатой избушке, стоявшей за кипарисовой ветрозащитной рощицей на крутом склоне заросшей травою горки — по верху там тоже росли эвкалипты и сосны позади главной усадьбы Шона. Избу построил много лет назад старик, чтобы в ней умереть. Выстроена она была хорошо. Меня пригласили жить там столько, сколько захочу, причем бесплатно. После многих лет запустения молодой свояк Шона Монахана Уайти Джоунз снова привел избу в жилой вид: он был искусным плотником, забил деревянные стены джутом, поставил хорошую дровяную печку, керосиновую лампу, но сам никогда в ней не жил — ему надо было далеко ездить на работу, за город. Поэтому туда вселился Джафи — заканчивать свои занятия и вести добротную одинокую жизнь. Если кто-то хотел навестить его, то карабкаться приходилось по довольно крутому откосу. Пол устилали травяные циновки, и в письме Джафи

писал: «Я сижу, курю трубку, пью чай, слушаю, как ветер словно плеткой хлещет гибкие члены эвкалиптов и как ревет кипарисовая рощица». Он должен был там жить до 15 мая — до своего отплытия в Японию, куда его пригласил какой-то американский фонд, чтобы он пожил там в монастыре и позанимался с Учителем. «А пока, — писал Джафи, — приезжай ко мне в темную избушку этого дикого старика, с вином, девчонками по выходным, с добрыми котелками еды и теплом от печки. Монахан даст нам настоящие козлы, мы свалим пару деревьев на его обширном дворе, раскряжуем их и наколем себе дров — я научу тебя валить лес по-настоящему.»

За эту зиму Джафи съездил автостопом к себе на родину, на Северо-Запад, через заснеженный Портленд и выше, к голубым ледникам, на самый север штата Вашингтон, на ферму к своему другу в долине Нуксак, неделю провел в хлипкой хижине сборщика ягод, совершил несколько восхождений. Названия вроде «Нуксак» или «Национальный заказник Маунт-Бейкер» возбуждали у меня в уме чудесные хрустальные видения снега, льда, сосен на Крайнем Севере моих детских мечтаний… Но я стоял на раскаленной апрельской дороге Северной Каролины, под-

жидая свою первую машину, которая довольно скоро и появилась: юный студентик подвез меня до городка под названием Нэшвилл, где я еще с полчаса варился на солнцепеке, пока неразговорчивый, но благожелательный морской офицер не взял меня аж до самого Гринвилла, Южная Каролина. После невероятного покоя целой зимы и начала весны, которые я проспал у себя на веранде и пробездельничал в лесах, тяготы автостопа показались мне жестче обычного; я чувствовал себя чертовски скверно. В Гринвилле я, на самом деле, проперся пехом три мили под палящим солнцем ни за хрен собачий, заблудился в городских задворках и закоулках в поисках нужной трассы, а в одном месте, проходя мимо чего-то типа кузницы, где все негры-рабочие были черными, потными и покрытыми угольной пылью, даже вскричал:

— Я вдруг снова попал в преисподнюю! — и тут меня опалило жаром.

Но по дороге начался дождик, и за несколько перегонов той же самой ночью я добрался до Джорджии; там отдохнул, сидя на своем мешке под навесами старых скобяных лавок, перекрывавшими весь тротуар, и выпил полпинты вина. Дождливая ночь, никакого движения. Когда

мимо проезжал междугородный «грейхаунд», я тормознул его и доехал до Гейнсвилла. Там я собирался немного поспать у железнодорожных путей, но до них надо было пилить около мили, и только я уже собрался было заночевать на товарном дворе, как пришла местная смена, они увидели меня, и я поэтому ушел на пустырь у путей, но вокруг стал ездить патруль легавых, светить везде своим прожектором (может, им про меня сказали железнодорожники, а может и нет), и я сдался, к тому же, там все равно были комары, вернулся в город и встал голосовать под яркими огнями центральных забегаловок: копы хорошо видели меня и не докапывались.

Но никто не проезжал, а заря приближалась, поэтому я переночевал в гостинице за четыре доллара, вымылся под душем и хорошенько отдохнул. Но все равно — какое ощущение бесприютности и незащищенности, как в в мою рождественскую поездку на Восток! На самом деле, мне оставалось гордиться лишь моими отличными новыми толстыми подошвами на рабочих башмаках да набитым рюкзаком. Наутро, позавтракав в унылом ресторане Джорджии с вращавшимися вентиляторами на потолке и

mucho[28] мух, я вышел на плавящееся шоссе и поймал грузовик до Флауэри-Бранч, Джорджия, потом — несколько мгновенных перегонов через Атланту на другую сторону, еще один крошечный городок — Стоунуолл, где меня подобрал здоровенный жирный южанин в широкополой шляпе, от которого несло виски, он травил анекдоты и постоянно оборачивался посмотреть, смеюсь ли я, а тем временем заруливал на мягкие покатые обочины, вздымая позади тучи пыли, поэтому задолго до места назначения я попросился вылезти под предлогом того, что хочу поесть.

— И хрен с ним, парень, поедим вместе, и я повезу тебя дальше. — Он был пьян и ехал очень быстро.

— Да мне еще в туалет надо… — стал отнекиваться я. Вся эта суета меня достала, поэтому я решил: черт с ним, с этим стопом. Денег у меня еще хватит на автобус до Эль-Пасо, а там прыгну на товарняки Южно-Тихоокеанской — так будет раз в десять безопаснее. А помимо этого — мысль о том, что за Эль-Пасо, Техас, в глубинах этого засушливого Юго-Запада, под ясными синими небесами, посреди бескрайней пустыни мне

---

[28] Примечания: 28
Здесь — множеством (исп.).

придется ночевать, и никаких фараонов нигде не будет, окончательно добила меня. Мне не терпелось поскорее выбраться с этого Юга, из этой Джорджии, бесконечной, как цепь каторжников.

Автобус подошел в четыре, и посреди ночи мы были уже в Бирмингеме, Алабама; там я уселся на скамейку ждать своего следующего автобуса, пытался уснуть, положив голову на рюкзак и обхватив его руками, но все время просыпался и видел, как вокруг слоняются бледные призраки американских автостанций: фактически, одну женщину вообще пронесло мимо, точно прядку дыма, я был определенно уверен, что уж ее-то точно на существовало. На лице у нее — иллюзорная вера в то, что она делает… На моем лице, вообще-то говоря, — тоже. Вскоре после Бирмингема началась Луизиана, затем — нефтяные разработки восточного Техаса, Даллас, потом — длинный дневной перегон по долгим, необъятным техасским пустошам в автобусе, набитом военными, до самого конца, до Эль-Пасо, куда приехали в полночь, и я к этому времени выдохся уже настолько, что хотелось лишь упасть и уснуть. Но в гостиницу я не пошел, деньги теперь надо было считать, а вместо этого закинул мешок за спину и направился прямиком к депо, чтобы где-нибудь

за путями расстелить свой спальник. Именно тогда, в ту ночь, я и осуществил мечту, заставившую меня в самом начале купить рюкзак.

То была чудная ночь, прекраснейший сон в моей жизни. Сначала я отправился в депо и осторожно прокрался за товарными составами, вышел на его западную оконечность, но не стал останавливаться, поскольку вдруг заметил в темноте, что дальше действительно начинается пустыня. Я различал скалы, сухие кустарники — в свете звезд присутствие их нагромождений слабо угадывалось. Чего шляться по виадукам и рельсам, рассуждал я, когда надо лишь чуть-чуть поработать ногами, и я окажусь вне всякой досягаемости — ни тебе деповских легавых, ни всяких ханыг. Поэтому я шел и шел вдоль главной линии — несколько миль, пока не остался один посреди гористой пустыни. В моих сапогах с толстыми подметками легко было шагать и по шпалам, и по камням. Уже было где-то около часу ночи, мне страшно хотелось отоспаться после долгой поездки из Каролины. Наконец, справа я увидал гору, которая мне понравилась; я уже прошел длинную долину со множеством огней — там явно находилась тюрьма или колония. Держись-ка от этого двора подальше, сынок, — подумал я. Поднялся

по сухому руслу — при свете звезд песок и скалы были белыми. Я забирался все выше и выше.

И вдруг возрадовался, осознав, что я совсем один, в безопасности, и никто не станет меня будить всю ночь. Что за поразительное откровение! И все, что мне нужно — вот оно, на спине; перед выходом сюда я набрал в свою полибденовую бутыль свежей воды на автостанции. Я забрался в верховье распадка и когда, в конце концов, обернулся, то увидел перед собою всю Мексику, всю Чихуахуа — всю ее блестевшую песком пустыню под убывавшей тонувшей луною, громадной и яркой, лежавшей прямо на гребнях Чихуахуа. Рельсы Южно-Тихоокеанской бежали ровно, параллельно реке Рио-Гранде за Эль-Пасо — так, что оттуда, где я стоял на американской стороне, было видно и саму реку, границей делившую две страны. Песок моей балки был мягок, как шелк. Я расстелил на нем спальник, снял башмаки, глотнул воды, зажег трубку, сел, скрестив ноги, и ощутил прилив радости. Ни звука; в пустыне до сих пор стояла зима. Вдалеке — лишь шум депо, где расцепляли сразу целые составы с громовым «сплоумм», будившим весь Эль-Пасо — но не меня. Единственной компанией мне была эта луна Чихуахуа, опускавшаяся, пока я на нее гля-

дел, все ниже и ниже, теряя свой белый свет и становясь маслянее и желтее, но все-таки когда я уже стал укладываться, она по-прежнему светила мне прямо в лицо яркой лампой, и чтобы уснуть, мне пришлось отвернуться. Чтобы не нарушать эаведенного мною же обычая называть всякие местечки своими собственными именами, я окрестил это место «Ущельем Апачей». Спал я на самом деле хорошо.

Утром в песке я нашел след гремучей змеи — но он мог остаться и с прошлого лета. Отпечатков ног было очень мало, да и те — следы охотничьих сапог. Утреннее небо было нетронуто голубым, солнце — жарким, вокруг много сухого дерева, чтобы зажечь костерок и приготовить завтрак. У меня в поместительном мешке лежали банки свинины с бобами. Завтрак получился просто королевским. Хотя возникла проблема с водой — я все выпил, а припекало и жажда усиливалась. Я полез выше по оврагу — на разведку — и зашел в тупик: сплошная каменная стена, а песок у ее подножия — еще глубже и мягче, чем прошлой ночью. Я решил в следующий раз разбить лагерь здесь, а день приятно провести в старом Хуаресе, покайфовать там в церкви и на улицах, поесть мексиканской пищи. Некоторое время я разду-

мывал, не оставить ли мне рюкзак, запрятав его хорошенько среди камней, но шанс все-таки был, хоть и крайне малый, что сюда забредет какой-нибудь охотник или старый бродяга и найдет его, поэтому я взвалил его на себя и снова спустился вдоль русла к железной дороге, прошел три мили обратно в Эль-Пасо и за двадцать пять центов оставил его в ящике камеры хранения на вокзале. Потом пересек весь город, вышел к пограничным воротам и перешел на ту сторону за два пенни.

День выпал сумасшедший, хотя начался довольно здраво — в церкви Марии Гвадалупы, потом я неторопливо погулял по Индейским Рынкам, отдохнул на скамеечке в парке среди по-детски веселых мексиканцев, но потом начались бары, легкий перебор с питьем, я орал пожилым усатым пеонам:

— Todas las granas de arena del desierto de Chihuahua son vacuidad![29] — и, наконец, столкнулся с толпой каких-то злостных мексиканских апачей, которые захватили меня к себе на хату, где камни сочились влагой, напригласили туда своих друзей, и я вторчал там от свечей — там была лишь куча смутных голов, пламя свечей и

---

[29] Примечания: 29
Все песчинки пустыни Чихуахуа пусты! (исп.)

дым. Мне, на самом деле, все это уже осточертело, я вспомнил свое ущелье с совершенным белым песочком, то место, где я буду сегодня спать, и стал прощаться. Но они не хотели меня отпускать. Один стащил что-то из моего мешка с покупками, но мне было все равно. Другой пацан-мексиканец оказался голубым и влюбился в меня: он хотел ехать со мною в Калифорнию. В Хуаресе уже настала ночь; все ночные клубы выли, себя не помня. Мы заскочили глотнуть пива в один: везде валялись негры-солдаты с сеньоритами на коленях, просто безумный бар, в музыкальном автомате — сплошной рок-н-ролл, регулярный рай, в общем. Мексиканский пацан хотел, чтобы я пошел с ним по переулкам, и мы бы там с ним «с-сст», а я бы сказал американским парням, что знаю, где тут есть девчонки:

— А я их приведу к себе в комнату, с-сст — и нет никаких девчонок! — предлагал он. Мне удалось стряхнуть его только у пограничного шлагбаума. Мы помахали друг другу на прощанье. Хуарес все-таки — злой город, а меня ждала моя добродетельная пустыня.

Я нетерпеливо пересек границу, прошел по Эль-Пасо к станции, забрал мешок, подавил тяжкий вздох и отправился три мили по рельсам прями-

ком к моей сухой балке, которую теперь легко опознал при лунном свете, потом наверх, ноги мои одиноко и мягко стучали о землю, как сапоги у Джафи, и я понял, что действительно научился у него отгонять пороки мира и города и находить свою подлинную чистую душу — коль скоро за плечами у меня нормальный рюкзак. Я вернулся к себе на стоянку, расстелил спальник и возблагодарил Господа за все, что Он давал мне. Теперь воспоминание о целом долгом и злом дне, о марихуане с мексиканцами в шляпах набекрень в затхлой комнатенке при свечах было как сон, как плохой сон, как один из моих снов на соломенной подстилке у Ручья Будды в Северной Каролине. Я медитировал и молился. На свете просто не существует такого ночного сна, что сравнился бы со сном в пустыне зимней ночью — при условии, что тебе хорошо и тепло в спальнике на гагачьем пуху. Тишина настолько интенсивна, что слышишь, как в ушах ревет твоя собственная кровь — но намного громче этого тот таинственный рев, который я всегда определяю как звучание алмаза мудрости, таинственный рев самой тишины — величайшее «шшшшш», напоминающее о том, что ты, казалось, давно забыл за напрягом дней, промелькнувших с самого твоего рождения. Как

бы мне хотелось попытаться объяснить это тем, кого я любил: моей маме, Джафи, — но просто не существовало таких слов, чтобы описать это ничто и эту чистоту. Есть ли какое-то четкое и определенное учение, которое можно дать всем живым существам? — такой вопрос, вероятно, задавали жуколобому снежному Дипанкаре, и ответом его было ревущее молчание алмаза.

23

Наутро уже пора было шевелить костями по дороге, иначе я никогда не доберусь под защиту своей избушки в Калифорнии. Из наличных, что я захватил с собой, у меня осталось что-то около восьми долларов. Я спустился к трассе и стал голосовать, надеясь, что повезет быстро. Меня подобрал коммивояжер. Он сказал:

— Триста шестьдесят дней в году у нас в Эль-Пасо светит солнце, а моя жена взяла и купила сушилку для одежды! — Он довез меня до Лас-Крусеса, Нью-Мексико, а там я прошел по шоссе весь городишко насквозь и вышел на противоположном конце — и увидел большое дерево, прекрасное и старое, и решил просто кинуть под него мешок и во что бы то ни стало отдохнуть. Поскольку это сон, уже завершенный, то я уже — в Калифорнии, то я уже решил устроить себе полуденный отдых под этим вот деревом; так я и сделал, растянувшись на спине и даже ненадолго приятно задремав.

После этого я встал, перешел через железнодорожный мост, и там какой-то человек увидал

меня и спросил:

— Ты бы не хотел поработать за два доллара в час — помочь мне перевезти пианино? — Деньги мне были нужны, и я сказал: ладно. Мы оставили мой рюкзак на складе, куда он при переезде складывал мебель, и поехали на его грузовичке к нему домой на окраину Лас-Крусеса, где множество славных людей — такая средняя прослойка — сидело и разговаривало на крылечках, и мы с человеком вылезли из кабины, взяв ручную тележку и подушечки, вытащили пианино и еще кучу всякой мебели, потом перевезли это все в его новый дом, внесли внутрь, и на этом все. Два часа — он дал мне четыре доллара и я пошел в столовку для шоферов-дальнобойщиков и пообедал по-царски; теперь можно было двигаться весь день и всю ночь. Тут как раз остановилась машина: за рулем большой техасец в сомбреро, на заднем сиденье молодая мексиканская пара — бедняки, у девчонки на руках грудничок; водитель предложил сесть и мне — до самого Лос-Анжелеса за десятку. Я сказал:

— Я отдам вам все, что у меня есть, а есть только четыре.

— Ну и черт с тобой, все равно садись. — Рот у него не закрывался и он гнал машину всю ночь

напролет — через всю Аризону, по калифорнийской пустыне, — и высадил меня в девять утра в Лос-Анжелесе, в двух шагах от моей сортировки, и единственной неприятностью было то, что бедная молоденькая мамаша опрокинула на мой рюкзак, стоявший на полу кабины, детское питание, и я сердито вытер его. Впрочем, они били милыми людьми. На самом деле, пока мы ехали по Аризоне, я немного рассказал им о буддизме, в особенности — о карме, перевоплощении, и им, мне показалось, понравилось.

— Ты имеешь в виду — еще один шанс вернуться и попробовать по-новой? — спросил бедняк-мексиканец, весь забинтованный после драки в Хуаресе предыдущей ночью.

— Ну да, так говорят.

— Ну, дьявол, когда рожусь в следующий раз, надеюсь, не буду тем, кто я сейчас.

И большой техасец — если кому-то и нужен был еще один шанс, так это ему: все его ночные истории были про то, как он вмазал тому-то и тому-то за то-то и то-то; послушать его, так выходило, что он вырубил столько народу, что хватило бы на целую призрачную армию отмщенных горемык, ползущих на Техасщину. Но я заметил, что враль он еще тот, половине его баек все равно не пове-

рил и около полуночи слушать вообще перестал. Теперь, в девять утра, в Л. А., я дошел до товарного двора, задешево позавтракал в баре пончиками с кофе — сидел у стойки и болтал с барменом-итальянцем, которому было интересно, что это я тут делаю с таким большим рюкзаком, потом пошел к депо и уселся в траву смотреть, как снаряжают поезда.

Гордый — поскольку сам был тормозным кондуктором, — я совершил одну ошибку: стал бродить по всему депо с рюкзаком за плечами, болтать со стрелочниками, расспрашивать их про следующий местный, — как вдруг ко мне подваливает здоровенный молодой фараон, в кобуре на бедре пушка покачивается, весь влатанный, как в телевизоре — как какой-нибудь

Шериф Кошизы и Уайэтт Эрп[30], — смотрит на меня стальным взглядом сквозь темные очки и приказывает выметаться с территории депо. И провожает меня, уперев руки в боки, пока я перехожу по виадуку на автотрассу. Взбешенный, я прошел назад по шоссе, прыгнул через ограду и залег ненадолго в траве. Потом сел, пожевал травинку, все равно особо не высовываясь, подождал. Вскоре услышал гудок «путь свободен» и понял, какой состав готов, перелез по вагонам к своему поезду, запрыгнул на него, как раз когда он вытягивался, и выехал прямо из лос-анжелесского депо, лежа на спинке с травинкой в зубах под самым неумолимым носом моего полицейского, который опять стоял нараскорячку, но совсем по другой причине. Теперь он чесал репу.

---

[30] Примечания: 30

Уайэтт Берри Стэпп Эрп (1848–1929) — первопроходец американского фронтира и защитник правопорядка, родился в Монмуте, Иллинойс. В молодости работал кучером дилижанса, строил железные дороги, охотился на бизонов, был полицейским. В 1876 году стал главным заместителем маршала совершенно беззаконного городка Додж-Сити, Канзас. Примерно через год относительный мир и порядок там был восстановлен, и Эрп переехал в Дедвуд на Территории Дакота. В Додж-Сити он вернулся в 1878 г., а на следующий год осел в Томбстоуне, Аризона. Там он упрочил свою репутацию отличного стрелка — сначала в должности первого заместителя шерифа округа Пима, затем — уже как заместитель маршала всей Территории. Вместе с тремя братьями и первопроходцем Доком Холлидэем в 1881 году участвовал в знаменитой перестелке у Кораля О. К., в которой они убили нескольких подозреваемых скотокрадов. Эрп уехал из Томбстоуна в 1882 году и остаток жизни провел в разных городах американского Дикого Запада,

приглядывая за своей обширной недвижимостью. После смерти стал легендарной фигурой. Героем многочисленных вестернов, телесериалов и кинофильмов.

Местный шел в Санта-Барбару, где я снова отправился на пляж, искупался, развел в леске костерок и поел, а потом вернулся в депо с большим запасом времени до «ночного призрака». «Призрак», в основном, составлен из платформ, к которым стальными тросами принайтовлены грузовики-трейлеры. Огромные колеса заблокированы деревянными брусьями. Поскольку я всегда укладываюсь головой под эти брусья, то если когда-нибудь случится катастрофа — прощай, Рэй. Я прикинул, что если мне суждено умереть, едучи на «ночном призраке», так от судьбы не уйдешь. Я прикинул, что у Господа для меня еще есть работенка. «Призрак» подошел точно по расписании, я влез на платформу под грузовик, расстелил спальник, засунул башмаки под свернутую куртку, что была у меня вместо подушки, расслабился и вздохнул. Вж-жик — и нас нет. И теперь я знаю, почему бродяги называют его «ночным призраком» — потому что обессиленный, совершенно ни о чем не позаботившись, я крепко заснул и проснулся только под накалом фонарей торговой конторы в Сан-Луис-Обиспо — в крайне опасной ситуации: поезд просто остановился не на том пути. Но у конторы не было видно ни души, глухая ночь, а кроме этого,

как раз когда я проснулся, не увидев ни единого сна, впереди уже рявкал гудок, и мы трогались — ну точь-в-точь призраки. А после этого я уже не просыпался до самого Сан-Франциско поутру. У меня оставался доллар и Джафи ждал меня в избушке. Все путешествие оказалось быстрым и просветляющим, как сон, и я вернулся.

24

Если у Бродяг Дхармы когда-нибудь в Америке и появятся мирские братья, живущие нормальной жизнью — с женами, детишками и домами, — то они будут похожи на Шона Монахана.

Шон был молодым плотником, жил в старой деревянной усадьбе, до которой по проселку от сбившихся в кучу коттеджей Корте-Мадеры было очень далеко; он ездил на старом драндулете, лично пристроил сзади к дому веранду, чтоб устроить там детскую для будущего потомства, и выбрал себе жену, которая соглашалась с ним в малейших деталях касательно того, как жить в Америке радостной жизнью, не имея много денег. Шону нравилось брать у себя на работе отгулы, чтобы просто подниматься на горку к избушке, входившей в ту недвижимость, которую он арендовал, и проводить там весь день в медитациях, в изучении буддистских сутр, заваривая себе целые котелки чая и время от времени задремывая. Жену его звали Кристина — красивая девчонка с волосами медового цвета: они у нее рассыпались по плечам; она бродила по дому и двору босиком,

развешивала стирку и пекла домашний черный хлеб и печенье. Она была мастерицей готовить еду из ничего. За год до этого Джафи сделал им подарок на годовщину свадьбы — десятифунтовый мешок муки, и они очень обрадовались. Шон был, на самом деле, таким старозаветным патриархом: хоть ему и было всего двадцать два года, он носил длинную бороду, как у Святого Иосифа, и в ней жемчужно блестела белозубая улыбка, а его молодые голубые глаза лучились. У них уже было две дочери-малютки, которые тоже лазили по дому и во дворе босиком: их воспитывали так, чтобы они сами о себе заботились. В доме у Шона на пол были постелены соломенные циновки — там тоже надо было снимать обувь, когда заходишь. У него имелось огромное количество книг, а единственной роскошью была радиоаппаратура, на которой он слушал свою прекрасную коллекцию индийских пластинок, фламенко и джаза. У него были даже китайские и японские пластинки. Обеденный стол был низким, черным, лакированным, в японском стиле — поэтому чтобы поесть у Шона в доме, нужно было не только ходить в носках, но и усаживаться прямо на циновки вокруг стола кому как нравилось. Кристина замечательно готовила вкусные

супы и бисквиты.

Когда я приехал к ним в полдень, слез с «грейхаунда» и прошел около мили по битумной дороге, Кристина сразу же заставила меня сесть за стол и накормила горячим супом и горячим хлебом с маслом. Нежное создание.

— Шон вместе с Джафи на работе в Сосалито. Вернутся часам к пяти.

— Я схожу к избушке, посмотрю на нее и подожду их там.

— Можешь и здесь посидеть, пластинки послушаешь.

— Да я не хочу тебе мешать.

— Ты мне вовсе не будешь мешать, я только повешу белье, испеку хлеба на вечер и кое-что заштопаю. — С такой женой Шон, плотничавший весьма нерегулярно, умудрился отложить в банк несколько тысяч долларов. И, как патриарх в старину, он был щедр, всегда настойчиво угощал тебя, и если у него в доме было двенадцать человек, он устраивал большой обед (простой, но вкусный) на широкой доске во дворе, и там всегда стоял большой кувшин красного вина. Это, однако, было общественным уговором, и он очень строго за этим следил: на вино скидывались, а если люди приезжали, как оно всегда бывало,

на несколько выходных подряд, то должны были захватывать с собою еду или давать на нее деньги. Потом ночью, под кронами и звездами, когда все были уже накормлены и пили красное, Шон выносил свою гитару и пел народные песни. Когда я от этого уставал, то просто забирался на свою горку и ложился спать.

Пообедав и немного поговорив с Кристиной, я поднялся на гору. Склон круто уходил вверх прямо от задней двери. Громадные пондерозы и еще какие-то хвойные, а на участке по соседству — сонный выгон с дикими цветами и два красивых гнедых жеребца опустили гибкие шеи к молочным травам под жарким солнцем. Ой-ё-ёй, это будет пограндиознее лесов Северной Каролины! — подумал я, поднимаясь. В траве на склоне лежали три огромных эвкалипта, которые Шон и Джафи свалили и уже раскряжевали (распилили на круглые кряжи) мотопилой. Теперь они установили колоду и начали колоть кряжи клиньями, кувалдами и двойными топорами. Узенькая тропинка на вершину холма забирала так круто, что приходилось пригибаться почти до самой земли и идти как обезьянка. Тропка шла вдоль длинного ряда кипарисов, которые посадил старик, умерший на этой горке несколь-

ко лет тому назад. Они не позволяли холодным туманным ветрам с океана свободно гулять над участком. У моего восхождения было три стадии: задний двор Шона; затем ограда, обносящая настоящий олений питомник, где как-то ночью я действительно увидел оленей — целых пять, они отдыхали (весь этот район служил для дичи убежищем); затем последняя ограда и поросшая травою верхушка с неожиданной ложбинкой справа, где под деревьями и за цветущими кустами едва виднелась сама избушка. За нею — хорошо сработанной и состоящей, на самом деле, из трех комнат, только одну из которых занимал Джафи, — было сложено много дров, стояли козлы для пилки, топоры и размещалась уборная без крыши — просто дырка в земле, прикрытая доской. Это было как первое утро мира на прекрасном подворье, солнце лилось сквозь густое море листвы, вокруг прыгали птички и бабочки, тепло, сладко, пахнет горным вереском и цветами за колючей проволокой, натянутой до самой вершины горы, откуда открывается вид на весь Приморский Округ. Я вошел в избу.

К двери была прибита доска с китайской надписью, я так никогда и не выяснил, что эти иероглифы означали, вполне возможно — «Мара,

уходи прочь» (Мара-искуситель). Внутри я увидел всю прекрасную простоту образа жизни Джафи — чисто, разумно, странно-богато, причем на украшательство не истрачено ни единого цента. Старые глиняные кувшины взрывались букетами цветов, собранных во дворе. Книги аккуратно сложены стопками в ящиках из-под апельсинов. Пол покрыт недорогими циновками. Стены, как я уже говорил, обиты джутом — а это, наверное, самые красивые на свете обои, приятные глазу и хорошо пахнут. На циновке Джафи лежал тощий матрасик, сверху — большая пестрая шаль, а в головах — аккуратно свернутый на день спальный мешок. В нише, за занавесью из джута — его рюкзак и прочие шмутки, убранные с глаз подальше. На джутовой стене висели красивые репродукции старых китайских росписей по шелку и карты Приморского Округа и северо-западного Вашингтона, разные стихотворения, написанные им и просто нанизанные на гвоздики, чтобы все могли прочесть. Самым последним, наколотым на остальные, было: «Началось только что, когда колибри остановилась над крыльцом в двух ярдах от меня за распахнутой дверью, потом исчезла, а я уже не мог заниматься и увидел столб из красного дерева, косо вбитый в слежавшуюся землю,

запутавшийся в громадном кусте желтых цветов выше моей головы, через который я продираюсь всякий раз, когда захожу сюда, пенистая сеть солнечного света сквозь его лианы. Белоголовые воробьи оглушительно чирикают в кронах, петух в долине внизу все кукарекает и кукарекает. Снаружи Шон Монахан — у меня за спиной читает Алмазную Сутру на солнышке. Вчера я читал "Перелеты Птиц. Ржанка Золотистая и Крачка Арктическая", а сегодня эта большая абстракция — у моих дверей, ибо вскоре все юнко и малиновки улетят, а гнездящиеся скребуны выберут всю слабину, и вскоре в жарком мареве апрельского летнего дня по всему холму я и без книжки буду знать, что морские птицы погнались за весной на север вдоль побережья: они будут вить гнезда на Аляске через шесть недель.» Оно было подписано: «Джафет М. Райдер, Кипарисовая Изба, 18:III:56».

Мне не хотелось ничего нарушать в доме, пока он не вернется с работы, поэтому я вышел наружу, прилег в высокую траву на солнышке и прогрезил весь день в ожидании. Но потом понял, что с таким же успехом могу приготовить для Джафи славный ужин, снова спустился с горки, дошел по дороге до магазина, купил фасоли, солонины, разных круп, вернулся, развел огонь в

дровяной печке и сварил хороший котелок новоанглийской фасоли с черной патокой и луком. Я поразился, увидев, как Джафи запасает еду — на полке, сразу рядом с печкой: две луковицы, апельсин, мешочек проращенной пшеницы, баночки с кэрри в порошке, рис, таинственные кусочки сушеных китайских водорослей, бутылочка соевого соуса (чтобы готовить его загадочные китайские блюда). Соль и перец были у него аккуратно завернуты в целлофановые мешочки и стянуты резинками. На свете не было ничего, что Джафи бы когда-нибудь испортил или выбросил. Теперь я вводил в его рацион питательную мирскую свинину с фасолью — может, ему это и не понравится. Еще у него был здоровый шмат коричневого кристининого хлеба, а хлебным ножом ему служил обычный тесак, воткнутый в доску.

Стемнело, и я сидел и ждал во дворе, не давая котелку с фасолью остыть на плите. Я наколол дров и увеличил их груду за печкой. С Тихого океана начало задувать туманом, деревья низко гнулись и шумели. С вершины горки не было видно ничего, кроме деревьев: одни деревья, целое ревущее море деревьев. Просто рай. Когда похолодало, я зашел внутрь, поворошил угли, на-

певая, и закрыл окна. В окна вставлялись просто куски дымчатого пластика, хитро вправленные в рамы Уайти Джоунзом, братом Кристины — они пропускали свет, но выглянутъ сквозь них наружу было невозможно, а от холодного ветра они защищали. Вскоре в уютной избушке стало тепло. Через некоторое время в ревевшем море деревьев в тумане я услыхал: «хоо!» — то Джафи возвращался домой.

Я вышел встретить его. Он подходил по высокой траве, уставший от дневных трудов, топая своими сапожищами и перебросив куртку через плечо.

— Ну, Смит, вот ты и добрался.

— Я приготовил тебе славный котелок фасоли.

— Правда? — Он был невообразимо рад. — Ох, что за облегчение, когда приходишь с работы домой, и не надо самому готовить. Умираю от голода. — Он зарылся прямо в котелок, помогая себе хлебом и запивая горячим кофе, который я сварил на печке в кастрюльке — заварил его по-французски, лишь помешивая ложкой. У нас получился замечательный ужин, мы потом зажгли трубки и разговаривали, а пламя ревело. — Рэй, у тебя будет великолепное лето на пике Опустошения. Я тебе все про него расскажу.

— У меня и весна будет великолепной вот в этой самой избушке.

— Чертовски правильно, первым делом нам надо пригласить на эти выходные одних славных новых девчонок, с которыми я познакомился, — Психею и Полли Уитмор, хотя погоди, гм-м. Я не могу пригласить обеих сразу, они обе в меня влюблены и будут ревновать. Ну все равно у нас каждый уикэнд будут большие вечеринки: начнем внизу у Шона, а закончим здесь. А завтра я не работаю, поэтому мы наколем для Шона дров. Это все, чего он от тебя хочет. Хотя, если хочешь, можешь поработать с нами в Сосалито на будущей неделе — там можно зашибать по десятке в день.

— Чётко… на нее можно купить много мяса, бобов и вина.

Джафи вытащил хороший набросок кистью: там была изображена гора.

— Вот тебе гора, которая будет над тобою нависать: Хозомин. Я ее сам нарисовал два лета тому назад с пика Кратер. В тысяча девятьсот пятьдесят втором я впервые попал в Скагит — проехал стопом из Фриско в Сиэттл, и потом вглубь, у меня только-только пробивалась борода, а голову я начисто выбрил…

— Начисто?! Зачем?

— Чтобы быть как бхикку, сам знаешь, как об этом в сутрах.

— Но что о тебе люди думали, когда ты останавливал машины с лысой головой?

— Они думали, что я псих, но всем, кто меня подвозил, я втулял про Дхарму, парень, и оставлял их просветленными.

— Мне тоже надо было так делать по пути сюда… Я должен еще рассказать тебе про мою сухую балку в горах.

— Погоди-погоди, и вот они ставят меня наблюдать за Кратерной горой, но снег на высокогорьях в тот год был таким глубоким, что я сначала целый месяц пробивал тропу в ущелье Гранитного ручья, ты сам все эти места увидишь, а потом с целым караваном мулов мы делали последние семь миль по петлявшей тибетской горной тропе над линией лесов, по снежным полям к последним зазубренным пикам, а потом лезли наверх по утесам в буран, и я открыл свое зимовье и приготовил себе первый обед, а снаружи выл ветер, и внутри на двух наветренных стенах нарастал лед. Вот погоди только, и ты туда сам доберешься. В тот год на Опустошении сидел Джек Джозеф — там, где ты будешь.

— Что за имя — «Опустошение», о-оо, ух, уф,

постой…

— Он был там, наверху, первым наблюдателем, я первым же делом вызвал его по радио, и он пригласил меня в общину наблюдателей. Позже я связывался с другими горами — понимаешь, тебе дают двустороннюю рацию, это почти что ритуал — когда все наблюдатели там болтают, рассказывают о медведях, которых видели, или иногда спрашивают, как печь сдобу на печке, и так далее, и вот все мы, вознесенные так высоко над миром, сидим и переговариваемся в эфире через сотни миль глухомани. Там, куда ты едешь, парень, — первобытная местность. Из моего зимовья, когда стемнеет, я видел лампу на Опустошении — Джек Джозеф читал там свои книги по геологии, а днем мы мигали друг другу зеркалами, чтобы выверить по компасу пожарные азимуты.

— Эх-х, как же я всему этому научусь, я ведь простой бродячий поэт?..

— Да научишься: магнитный полюс, Полярная звезда да северное сияние. Каждый вечер мы с Джеком Джозефом разговаривали: однажды к нему на пост залетел целый рой божьих коровок — облепили ему всю крышу и набились в цистерну для воды, еще как-то он пошел прогуляться по

хребту и наступил прямо на спящую медведицу.

— Ого, а я-то думал, здесь тоже глушь…

— Да это все игрушки… А когда подходила гроза с молниями, все ближе и ближе, он вызвал меня и сказал, что отключается, потому что с радио слишком опасно, и его не стало ни слышно, ни видно, потому что навалились черные тучи, и на его холме затанцевали молнии. Но лето шло, и пик Опустошения весь подсох и расцвел, и он стал бродить по утесам с блейковскими ягнятами, а я сидел на Кратерной горе в одних плавках и сапогах, выискивал гнезда куропаток — просто так, из любопытства, — везде карабкался и лазил, меня жалили пчелы… Опустошение — это далеко наверху, Рэй, шесть тысяч футов или около того, смотрит прямо на Канаду и Челанские нагорья, на леса хребта Пикетт и на горы типа Вызывающей, Ужаса, Ярости, Отчаянья, а твой хребет будет называться хребет Голода, а вглубь страны к югу пойдет хребет с Бостонским пиком и пиком Бакнер — тысячи миль одних гор, олени, медведи, кролики, ястребы, форель, бурундуки. Тебе там будет клево, Рэй.

— Да я и так этого жду. Меня-то уж пчелы точно жалить не станут.

Потом он вытащил свои книги, немного по-

читал, я тоже почитал, причем мы зажгли себе отдельные керосинки, низко прикрутив пламя: спокойный вечер дома, а снаружи ревет в деревьях ветер, гонит туман, а на той стороне долины скорбный мул испускает самое душераздирающее ржание, которое я когда-либо слышал.

— Когда этот мул вот так рыдает, — сказал Джафи, — мне хочется молиться за все разумные существа. — Потом он немного помедитировал, сидя неподвижно в полной позе лотоса на своей циновке, а затем произнес: — Ну, пора спать. — Но я ведь хотел рассказать ему все, что открыл для себя зимой, медитируя в лесах. — Ах, да это всего лишь множество слов, — сказал он печально, чем немало удивил меня. — Я и слышать не хочу все твои словесные описания слов, слов, слов, которые ты сочинял всю зиму, чувак, я хочу просветляться действиями. — Джафи к тому же сильно изменился с прошлого года. У него больше не было тощей бороденки, вместе с которой исчезло и это смешное веселое выражение лица — оно осталось просто изможденным и каменным. Еще он коротко подстригся, стал выглядеть по-германски сурово, а более всего — печально. Теперь в его лице, казалось, читалось какое-то разочарование, а в его душе оно поселилось уж

наверняка; он не хотел слушать моих пылких объяснений, что все в порядке навсегда, навсегда и навсегда. Внезапно он произнес: — Я, наверное, скоро соберусь жениться, я устаю вот так вот порхать.

— А я думал, ты обнаружил свой дзэнский идеал бедности и свободы.

— Ай, да может, я устаю как раз от всего этого. После того, как я вернусь из монастыря в Японии, с меня, может, уже будет довольно. Может, я стану богатым, буду работать и заработаю кучу денег, и буду жить в большом доме. — Но еще через минуту: — А хотя кому охота становиться рабом всего этого? Не знаю, Смит, просто у меня депрессия, и все, что ты говоришь, только угнетает меня еще сильнее. Знаешь, моя сестра вернулась.

— А кто она?

— Рода, сестренка моя, мы с нею выросли в орегонских лесах. Она собирается замуж за этого богатого мудака из Чикаго — самый настоящий квадрат. У моего отца тоже нелады с сестрой, с моей тетушкой Носс. Она еще та стерва.

— Тебе не надо было срезать бородку, ты раньше был похож на маленького счастливого мудреца.

— Ну что ж, я больше не маленький счастливый мудрец и я устал. — Он весь выдохся после

тяжелого дня работы. Мы решили лечь спать и про все забыть. На самом деле, нам было немного грустно, и мы обиделись друг на друга. Днем я подыскал себе местечко под кустом диких роз во дворе, где собирался расстелить спальный мешок. Я на целый фут завалил этот пятачок свежесорванной травой. Теперь же, с фонариком и бутылкой воды из кухонного крана, я вышел наружу и свернулся в прекрасный ночной отдых под вздыхавшими деревьями, сначала немножко помедитировав. Я больше не мог медитировать в помещении, как это только что делал Джафи: проведя всю эту зиму в ночных лесах, я должен был слышать крошечные звуки животных и птиц, ощущать холодные вздохи земли под собою — прежде чем по праву почувствовать сродство со всем живым: пустым, пробужденным и уже спасенным. Я молился о Джафи: похоже, он менялся к худшему. На заре дождик стал похлопывать меня по спальнику, и вместо того, чтобы подстелить пончо, я накрылся им сверху и спал себе дальше. В семь утра выглянуло солнце, в цветках роз у моей головы появились бабочки, прямо ко мне, посвистывая, реактивно нырнула колибри и, счастливая, унеслась прочь. Но я ошибся насчет перемены в Джафи. Это было одно

из самых замечательных утр в нашей жизни. Он стоял в дверях избушки со сковородкой в руке, колотил по ней и монотонно пел:

— Буддхам саранам гоччами… Дхаммам саранам гоччами… Сангхам саранам гоччами… — И вопил: — Давай, парень, твои оладьи уже готовы! Вставай есть! Бам бам бам! — И оранжевый свет лился сквозь сосны, и все сновра было четко; на самом деле, Джафи поразмышлял в ту ночь и решил, что я прав, прорубаясь к старой доброй Дхарме.

25

Джафи приготовил хорошие гречишные оладьи, мы к ним добавили сиропа «Бревенчатая Хижина» и немного масла. Я спросил его, что означает пение «Гоччами».

— Это поют перед тремя приемами пищи в буддистских монастырях в Японии. Это означает: «Буддхам Саранам Гоччами» — я ищу укрытия в Будде, «Сангхам» — я ищу укрытия в церкви, «Дхаммам» — я ищу укрытия в Дхарме, в истине. Завтра утром я приготовлю тебе еще один славный завтрак — хлёбово, ты когда-нибудь ел старомодное доброе хлёбово, парень, это всего лишь омлет, перемешанный с картошкой.

— Это еда дровосеков?

— Нет такой вещи, как «дровосеки» — это, должно быть, восточное выражение. Мы здесь зовем их лесорубами. Давай, ешь свои оладьи, мы сейчас спустимся и будем расклинивать кряжи, я покажу тебе, как обращаться с двойным топором. — Он вытащил топор, наточил его и показал мне, как это надо делать. — И никогда не бей этим топором по куску дерева, если тот лежит на

земле: попадешь по камню и затупишь, всегда подкладывай бревно или что-нибудь.

Я вышел в уборную и, возвращаясь, захотел застать Джафи врасплох дзэнским трюком и кинул в раскрытое окно рулончик туалетной бумаги, а он испустил громогласный самурайский клич и возник на подоконнике в одних сапогах и шортах, с тесаком в руке, и прыгнул на пятнадцать футов во двор, заваленный поленьями. Сумасшедший. Мы двинулись вниз в приподнятом настроении. Во всех раскряжеванных колодах уже были большие или маленькие трещины, куда можно было вставить тяжелый железный клин, а потом ты поднимал над головой пятифунтовую кувалду и, немного отступив, чтобы не попасть себе по ноге, со звоном бил ею по клину — конко! — и кряж аккуратно раскалывался напополам. Потом устанавливал эти полукруглые чурбаны на колоде и разрубал их двойным топором — прекрасным, на длинной рукояти, острым, как бритва, — и фавап! — у тебя уже были четвертушки. Потом устанавливал четвертушки и превращал их в осьмушки. Джафи показал мне, как замахиваться кувалдой и топором — не слишком сильно, — но я заметил, что когда он расходился, то сам махал топором изо всех сил и либо ревел своим знаме-

нитым кличем, либо матерился. Довольно быстро я приноровился и работал так, словно занимался этим всю жизнь.

Во двор вышла Кристина — посмотреть, как мы управляемся, — и крикнула:

— У меня для вас будет славный обед.

— О'кей. — Джафи с Кристиной были как брат с сестрой.

Мы накололи много дров. Было замечательно опускать вниз кувалду, всем ее весом звякать по головке клина и чувствовать, как кряж поддается — ну, не с первого раза, так со второго. Запах опилок, сосновой хвои, ветерок, овевающий с моря безмятежные горы, жаворонки поют над лугами, бабочка в траве — изумительно. Потом мы зашли в дом и пообедали горячими сосисками с рисом, супом и красным вином со свежими бисквитами Кристины; мы, разувшись, сидели по-турецки и рылись в обширной библиотеке Шона.

— Ты слыхал про ученика, который спросил у Учителя Дзэна: «Что такое Будда?»?

— Нет, что?

— Тот ответил: «Будда — это засохшая какашка». Ученик испытал внезапное просветление.

— Обычное говно, — сказал я.

— А ты знаешь, что такое внезапное просветле-

ние? Один ученик пришел к Учителю и ответил на его коан, а Учитель стукнул его палкой и сшиб на десять футов с веранды в грязную лужу. Ученик поднялся, весь в жиже, и засмеялся. Позже он сам стал Учителем. Его не слова просветлили, а этот мощный толчок с крыльца.

«Извалявшись в грязи, чтобы подтвердить кристальную истину состраданья,» — подумал про себя я: я не собирался больше оглашать Джафи свои «слова».

— Уоо! — завопил он, кидая цветком мне в голову. — Ты знаешь, как Кашьяпа стал Первым Патриархом? Будда собирался толковать сутру, и тысяча двести пятьдесят бхикку ожидали его слов, оправив одежды и скрестив ноги, а Будда лишь показал им цветок, все обеспокоились. Будда ничего не говорил. Один Кашьяпа улыбался. Так Будда и выбрал Кашьяпу. Это стало известно как «цветочная проповедь», парень.

Я зашел на кухню, взял банан, вышел и сказал:

— Ну, тогда я расскажу тебе, что такое нирвана.

— Что?

Я съел банан и выкинул очистки, ничего не сказав:

— Вот тебе банановая проповедь.

— Хоо! — заорал Джафи. — Я когда-нибудь рассказывал тебе о Старике Койоте и о том, как он и Серебристый Лис основали мир? Они топтались в пустом пространстве, пока у них под ногами не появилось немного почвы. Взгляни, кстати, вот на эти картинки — это знаменитые «Быки». — То был древнекитайский комикс, изображавший сначала маленького мальчика, уходящего в пустыню с посошком и узелком, совсем как американский бродяжка Нэта Уиллса в 1905 году, а на следующих рисунках он встречает быка, пытается приручить его, пытается сесть на него верхом, потом, в конце концов, приручает его и катается на нем, но потом бросает быка и просто сидит под луною и медитирует, и наконец видно, как он спускается с горы просветления, и вдруг на следующем рисунке вообще ничего не изображено, а на следующем — цветы на дереве, и на последней картинке маленький мальчик стал толстым, старым, смеющимся волшебником с огромным мешком за спиной — он входит в город, чтобы напиться с мясниками, просветленный, а новый маленький мальчик уходит в горы с узелком и посохом.

— Это продолжается и продолжается, ученики и Учителя проходят через одно и то же, сначала они

должны отыскать и приручить быка сущности своего разума, потом бросить его, затем они, наконец, достигают ничто, как представлено здесь вот этой пустой картинкой, потом, достигши ничто, они приобретают всё — вот эти весенние цветы на деревьях: поэтому они заканчивают, спускаясь в города, чтобы напиться с мясниками как Ли Бо. — Это был очень мудрый комикс, он напомнил мне мой собственный опыт: когда я пытался укротить свой разум в лесах, потом понял, что он весь пуст и пробужден, и что мне не надо ничего делать, а теперь вот напиваюсь с мясником Джафи. Мы слушали пластинки и слонялись по комнате, покуривая, а потом опять пошли рубить дрова.

После, когда на исходе дня стало прохладно, мы поднялись к избушке, помылись и переоделись перед большой субботней вечеринкой. В течение дня Джафи бегал по склону вверх-вниз, по меньшей мере, раз десять: звонил, разговаривал с Кристиной, приносил хлеб и тащил простыни для своей девчонки на вечер (когда у него бывала девушка, он застилал тощий матрасик и циновки чистыми простынями — ритуал). Я же просто сидел в траве, ничего не делая, или писал хайку, или смотрел, как вокруг холма кружит старый

стервятник.

— Там должно быть что-то мертвое, — прикидывал я. Джафи спросил:

— Чего ты рассиживаешь на заднице весь день?

— Я практикую ничегонеделание.

— Какая разница? На фиг, мой буддизм — деятельность. — И он стремглав сбежал вниз по склону. Затем я услыхал, как он пилит дрова и насвистывает где-то в отдалении. Он ни минуты не мог не дергаться. Медитации у него были регулярными, как по часам: он медитировал первым делом, когда просыпался, затем у него была полуденная медитация — всего каких-то три минуты, а затем — перед сном; и всё. Я же не торопился и грезил постоянно. Мы были двумя чужими, совершенно разными монахами на одной и той же тропе. Однако, я взял лопату и подровнял землю в том месте под розовым кустом, где лежала моя травяная постель: для комфорта здесь было немножко покато; но я нормально все выправил и той ночью после большой попойки спал хорошо.

Попойка была дикой. К джафи пришла девушка по имени Полли Уитмор — прекрасная брюнетка с испанской прической и темными глазами, на

самом деле — жгучая красавица и тоже скалолазка. Она недавно развелась и теперь жила одна в Миллбрэ. А брат Кристины Уайти Джоунз привез свою невесту Пэтси. И, разумеется, домой с работы вернулся Шон и перед вечеринкой хорошенько почистился. На выходные приехал еще один парень — крупный блондин Бад Дифендорф, он работал уборщиком в Буддистской Ассоциации, чтобы оплачивать себе квартиру и бесплатно посещать занятия; такой большой мягкий Будда с трубкой в зубах и всякими странными идеями. Мне Бод понравился — он был интеллигентным, а еще мне понравилось то, что он начинал в Чикагском Университете как физик, потом переключился на философию, а теперь ушел от нее к ужасному убийце всякой философии — к Будде. Он говорил:

— У меня как-то был сон, что я сижу под деревом, пощипываю струны лютни и пою: «У меня нет имени». Я был безымянным бхикку. — Мне было очень приятно встретить так много буддистов после всего своего тяжелого автостопа.

Шон был странным буддистом-мистиком, голова у него полнилась всяческими суевериями и предчувствиями.

— Я верю в дьяволов, — сказал он.

— Что ж, — отозвался я, поглаживая по волосам его дочурку, — все маленькие дети знают, что все попадают на Небеса. — С этим он нежно согласился, печально кивнув своим бородатым черепом. Он был очень добрым. Он постоянно говорил: «Есть!» — по-морскому, поскольку у него была старая лодка, стоявшая на якоре в заливе, ее трепало штормами, и нам приходилось подгребать к ней и вытаскивать ее в холодный серый туман. Старое корыто, а не лодка — двенадцать футов в длину, без кабины, о которой можно было бы всерьез говорить, ничего, кроме прохудившегося корпуса, дрейфующего вокруг ржавой бочки. Уайти Джоунз, брат Кристины, был славным пареньком лет двадцати: никогда ничего не говорил, а только улыбался и терпеливо сносил подколки. Например, когда вечеринка наша стала уже довольно дикой, три пары скинули с себя всю одежду и стали танцевать нечто вроде невинной затейливой полечки — рука об руку по всей гостиной, пока детишки спали в своих кроватках. Это совершенно не беспокоило нас с Бадом — мы продолжали курить трубки и беседовать в углу о буддизме; на самом деле, так было потому, что у нас не было своих девчонок. А там танцевали три превосходно сложенных нимфы. А Джафи с Шо-

ном затаскивали Пэтси в спальню, притворяясь, что пытаются ее сделать, чтобы досадить Уайти, а тот весь покраснел, совершенно голый, и такая борьба шла с хохотом по всему дому. Мы с Бадом сидели по-турецки в углу, перед нами танцевали обнаженные девушки, а мы смеялись, осознавая, что это — чертовски знакомая история.

— Это, кажется, — какая-то предыдущая жизнь, Рэй, — сказал Бад. — Мы с тобою были монахами в каком-то тибетском монастыре, где девушки танцевали для нас перед ябъюмом.

— Ага, мы были старыми монахами, которых секс больше не интересует, а Шон, Джафи и Уайти — молодыми, до сих пор полными пламени зла, им еще многому предстоит научиться. — То и дело мы с Бадом поглядывали на всю эту плоть и тайком облизывались. Но на самом деле большую часть всего этого голого кутежа я просто сидел с закрытыми глазами и слушал музыку: я действительно искренне не брал похоть в голову одной лишь силой воли и скрежетом зубовным. А самым лучшим способом было просто закрыть глаза. Несмотря на наготу и все остальное, в действительности это была нежная домашняя вечеринка, и в конце все уже начали позевывать, чтобы идти спать. Уайти ушел с Пэтси, Джафи

поднялся на гору с Полли и уложил ее на свои свежие простыни, а я развернул спальник под кустом роз и уснул. Бад привез с собою собственный спальник и устроился на циновках у Шона.

Утром Бад поднялся к нам, зажег трубку и уселся на траву, болтая со мною, пока я продирал глаза. В течение дня, а это было воскресенье, к Монаханам заходили всякие-разные люди, и половина из них взбиралась на горку — взглянуть на хорошенькую избушку и двух знаменитых сумасшедших бхикку — Джафи и Рэя. Среди этих людей были Принцесса, Алва и Уоррен Кафлин. Шон установил на дворе большущую доску и по-королевски выставил вино, гамбургеры и соленья, зажег большой костер, вытащил две своих гитары — и это действительно был великолепный способ жить в Солнечной Калифорнии, как я понял: со всею прекрасной и тонкой Дхармой, связанной с этим, с походами в горы, — у них у всех были рюкзаки и спальники, и некоторые на следующий же день уходили по тропам Приморского Округа, а тропы эти прекрасны. Поэтому попойка наша постоянно делилась на три части: те, кто в гостиной, слушали музыку или листали книги, те, кто во дворе, ели и слушали гитару, а те, кто в избушке на вершине холма, заваривали

чайники чаю, сидели по-турецки и говорили о поэзии и обо всем остальном, и о Дхарме, или бродили по высокой луговине и смотрели, как ребятишки запускают воздушных змеев, или как пожилые дамы катаются на лошадях. Каждые выходные происходил один и тот же мягонький пикничок, настоящая сценка из классики, где ангелы и куклы проводят некое цветочное время в пустоте, подобной пустоте в комиксе о Быках, цветущей ветке.

Мы с Бадом сидели на горке и следили за змеями.

— Этот змей высоко не взлетит, у него недостаточно длинный хвост, — сказал я. Бад отозвался:

— Слушай, это клево — это напоминает мне основную проблему моих медитаций. Вот почему я не могу, на самом деле, забраться высоко в нирвану — у меня хвост недостаточно длинный. — Он пыхтел трубкой, серьезно над этим раздумывая. Самый серьезный парень на свете. Он размышлял целую ночь, а наутро сказал мне: — Прошлой ночью я видел себя рыбой, плывущей сквозь пустоту моря и поворачивающей налево и направо, не ведая смысла лева и права, но у меня был плавник, и я поэтому мог — то есть, у меня был такой хвост змея, и поэтому я — рыба-Будда,

а мой плавник — это моя мудрость.

— К твоему змею хвост приделан, что довольно беспределен, — срифмовал я.

Когда происходили все эти попойки, я всегда урывал минутку, чтобы пойти подремать под эвкалиптом вместо моего розового куста: в течение дня тот постоянно оставался на солнцепеке: в тени деревьев мне отдыхалось хорошо. Как-то днем, только я пристально посмотрел на верхние ветви этих неимоверно высоких деревьев, то начал замечать, что самые верхние их веточки и листики — счастливые лиричные танцоры, обрадованные, что им уделили самый верх, а весь рокочущий опыт целого дерева раскачивается под ними, творя их танец, создавая каждую их дрожь — громадный, всеобщий и таинственный танец необходимости, и поэтому смысл дерева — в парении там, в пустоте, в этом танце. Я заметил, как листва почти похожа на человечество — в том, как листики кланяются, потом подпрыгивают вверх и лирически покачиваются бок о бок друг с другом. То было безумное видение моего ума, но прекрасное. В другой раз под этими же деревьями мне приснилось, что я вижу пурпурный трон, весь покрытый золотом, на нем — кто-то вроде Папы или Патриарха Вечности, а где-то

рядом — Роза, и как раз в этот момент где-то в избушке Коди трепался с парнями, и казалось, что он где-то слева от этого видения, будто какой-нибудь Архангел, а когда я открыл глаза, то увидел, что это всего лишь солнце падает мне на веки. И как я уже говорил, эта птичка-колибри, прекрасная голубенькая колибри, не больше стрекозы, постоянно ныряла ко мне со свистом, определенно со мною здороваясь, — каждый день, как правило — утром, и я всегда тоже кричал ей «привет». Наконец, она начала зависать в открытом окне избушки, жужжа своими яростными крылышками и глядя на меня бусинками глаз, затем вспышка — и нет ее. Такая вот у меня калифорнийская приятельница…

Хотя иногда я побаивался, что она вонзится своим длинным клювом мне прямо в голову, наподобие булавки от шляпки. Еще там жила старая крыса, которая скреблась в погребе под избушкой, и правильным было держать дверь закрытой. Другими моими большими друзьями были муравьи — целая колония их хотела забраться в домик и отыскать там мед («Всем муравьям, всем муравьям — приходите за своим медом в дом!» — спел как-то раз в избушке один маленький мальчишка), поэтому я вышел к их

муравейнику и проложил им медовую дорожку в глубину сада, и они предавались этому новому развлечению всю неделю. Я даже опускался на колени и разговаривал с ними. Вокруг избушки везде росли очень красивые цветы — красные, лиловые, розовые, белые, мы постоянно составляли из них букеты, но самый красивый сделал Джафи — в нем были только сосновые шишки и веточки хвои. Букетик выглядел так же просто, как и вся его жизнь. Он, бывало, врывался в хижину со своей пилой, видел, как я там сижу, и спрашивал:

— Ну чего ты тут сидишь целый день?

— Я Будда, известный под именем Лодырь.

Тогда все лицо Джафи съеживалось, он смеялся своим смешным смехом маленького мальчика — так смеялся бы китайский мальчуган, у глаз его появлялись веера гусиных лапок, а трещина широкого рта раскрывалась. Настолько он бывал мною доволен.

Все любили Джафи: девушки Полли, Принцесса и даже замужняя Кристина — все они были безумно в него влюблены и все тайно ревновали к его любимой куколке Психее, которая приехала на следующие выходные — вся такая милая, в джинсах, маленький белый воротничок выпу-

щен поверх черного свитера, нежное маленькое тело и личико. Джафи признавался мне, что сам чуть-чуть в нее влюблен. Но ему пришлось долго и трудно убеждать ее заняться с ним любовью — для этого ее пришлось напоить, а стоило ей только начать, остановиться она не могла. В тот уикэнд, когда она приехала, Джафи наготовил в избушке хлёбова для нас троих, потом мы попросили у Шона его драндулет и проехали около сотни миль вверх по побережью к уединенному пляжу, где собирали мидии прямо с омываемых морем скал и коптили их на большом костре, заваленном морской травой. У нас были хлеб, вино и сыр, и Психея весь день пролежала на животе, не снимая джинсов и свитера и ни слова не говоря. Но однажды она посмотрела на меня своими синими глазками и сказала:

— Какой ты оральный, Смит, ты постоянно ешь и пьешь.

— Я Будда С Ямой Желудка, — ответил я.

— Ну не миленькая ли она, а? — воскликнул Джафи.

— Психея, — сказал я, — этот мир — лишь кино того, чем всё является, это одно сплошное кино, сделанное повсюду из одного и того же, оно никому не принадлежат, вот что всё такое.

— А-а, ерунда.

Мы бегали по пляжу. Один раз Джафи с Психеей ушли по берегу далеко вперед, а я плелся один, насвистывая «Стеллу» Стэна Гетца, и парочка красивых девчонок, шедших впереди со своими парнями, услышала меня, одна обернулась и сказала:

— Свингуй. — На этом пляже были естественные пещеры в скалах, куда Джафи как-то притаскивал огромные компании людей и устраивал пляски голышом вокруг костров.

Потом опять подкатывали рабочие дни, пьянки заканчивались и мы с Джафи дочиста подметали избушку — пересохшие бродяжки чистят свои храмики. У меня еще оставалось немного с прошлой осени от стипендии — в аккредитивах, и я взял один, сходил в супермаркет на шоссе и купил муки, овсянки, сахара, черной патоки, меда, соли, перца, лука, риса, сухого молока, хлеба, фасоли, «черноглазого горошка», картошки, морковки, капусты, латука, кофе, больших деревянных спичек — разжигать нашу печь, и, пошатываясь под тяжестью всего этого, взобрался на горку, прихватив полгаллона красного портвейна впридачу. Аккуратная голая полочка Джафи вдруг оказалась перегружена едой.

— Что мы со всем этим будем делать? Придется кормить всех бхикку. — Когда пришло время, у нас стало больше бхикку, чем мы могли накормить: появился бедный пьяный Джо Мэхони, мой прошлогодний дружбан, три дня отсыпался и восстанавливал силы перед следующим загулом на Норт-Биче и в «Месте». Я подавал ему завтраки в постель. По выходным в избушке иногда сидело до двадцати человек — спорили, трепались, а я брал кукурузной муки, замешивал ее на воде с мелко накрошенным луком, солил и выливал на горячую сковородку столовыми ложками, жарил на масле, и для всей банды получались превосходные горячие лепешки к чаю. Год назад по китайской Книге Перемен я подкинул парочку пенни — посмотреть, что за судьба меня ожидает, и вышло: «Ты будешь кормить других». И в самом деле — я постоянно стоял над горячей плитой.

— Что это значит: вон те дерерья и горы вон там — не волшебные, а реальные? — вопил я, показывая в раскрытую дверь.

— Что? — переспрашивали они.

— Это значит, что вон те деревья и горы — не волшебные, а реальные.

— Да?

Тогда я говорил:

— Что это значит: вон те деревья и горы — вовсе не реальные, а просто волшебные?

— Ох, прекрати.

— Это значит, что те деревья и горы — вовсе не реальные, а просто волшебные.

— Да какие же они, черт побери?

— Что это значит: что ты спрашиваешь, да какие же они, черт побери? — не унимался я.

— Ну, что?

— Это значит, что ты спрашиваешь, да какие же они, черт побери.

— Ох, иди и засунь голову себе в спальник, а еще лучше — притащи-ка мне чашку горячего кофе. — Я постоянно варил на печке большие котелки кофе.

— Ох, да кочумайте, — вопил Уоррен Кафлин. — Колесница сносится!

Однажды днем я сидел с какими-то детишками в траве, и они спросили меня:

— Почему небо голубое?

— Потому что оно — голубое.

— Нет, я хочу знать, почему небо голубое.

— Небо голубое, потому что ты хочешь знать, почему оно голубое.

— Сам дурак, — сказали они.

Вокруг всегда околачивалась какая-нибудь

ребятня: они швыряли камни на крышу нашей избушки, поскольку считали ее заброшенной. Как-то раз, когда у нас с Джафи жил черный как смоль котенок, они подкрались к двери, чтобы заглянуть внутрь. Только собрались они приоткрыть ее, как я распахнул ее изнутри с черным котом на руках и произнес зловещим шепотом:

— Я — призрак.

Они ахнули, посмотрели на меня и сказали:

— Ага. — И вскоре были уже на другой стороне холма. Больше кидаться камнями они не приходили. Наверняка подумали, что я колдун.

26

Мы планировали устроить большой прощальный вечер за несколько дней до отплытия парохода Джафи в Японию. Идти туда он должен был японским сухогрузом. Это обещало стать грандиознейшей балёхой всех времен: вылиться из гостиной Шона с радиоаппаратурой прямо во двор с костром, растечься вверх по склону и даже перелиться на другую сторону. Мы с Джафи вечеринками уже пресытились и ожидали новую без особого восторга. Но прийти должны были все: все его девчонки, включая Психею, поэт Какоэтес, Кафлин, Алва, Принцесса со своим новым дружком, даже директор Буддистской Ассоциации Артур Уэйн с женой и сыновьями, даже отец Джафи, разумеется — Бад и неопределенные парочки отовсюду на свете: они приедут со своим вином, едой и гитарами. Джафи сказал:

— Мне уже надоели все эти пьянки. Как по части нам с тобой после попойки сняться по тропам округа — она все равно будет идти несколько дней, а мы возьмем рюкзаки и сходим в лагерь на Потреро-Медоуз или к Лорел-Деллу.

— Хорошо.

Тем временем как-то днем на сцене появилась сестра Джафи Рода со своим женихом. Она собиралась выходить за него в доме отца Джафи, в долине Милл-Вэлли, с большим приемом и всеми делами. Сонным полуднем мы с ним сидели в хижине, как вдруг в дверях возникла она — гибкая, светловолосая и хорошенькая, со своим прилично одетым женишком из Чикаго.

— Хоо! — заорал Джафи, подпрыгнув, страстно обхватив ее руками и расцеловав; она ответила ему от всего сердца. Нужно было слышать, как они разговаривали! — А с твоим мужем будет хорошо трахаться?

— Еще бы — сама выбирала, ты, зануда.

— Пусть только попробует плохо вести себя в постели: если что — сразу зови меня.

Затем, понта ради, Джафи запалил печку и сказал:

— Вот как мы делаем в настоящих горах на севере, — и бухнул в огонь слишком много керосина — правда, успел отбежать в сторону и подождал, что произойдет, как маленький шалун: и — бррумм! — в печке с рокотом все внутри взорвалось, и я видел, как взрыв отдался во всей избушке. В этот раз ему чуть-чуть не хватило.

Потом он сказал ее несчастному жениху: — Ну, а ты знаешь какие-нибудь хорошие позиций для брачной ночи? — Бедолага только-только вернулся со службы в Бирме и пытался что-то рассказать о стране, но не мог воткнуть и слова. Джафи был разозлен не на шутку и ревновал. Его пригласили на торжественный прием, а он ответил:

— А можно прийти нагишом?

— Как захочешь, только приходи.

— Я это все уже вижу: чаша с пуншем, всякие дамочки в летних шляпках, сердечно-цветочная органная музыка из колонок, и все промакивают глаза, потому что невеста так прекрасна. Ради чего ты хочешь с потрохами влезть в средний класс, Рода?

Та ответила:

— Ах, да мне плевать — я хочу зажить по-настоящему. — У ее жениха было много денег. Он, на самом деле, был славный малый, и я его от души пожалел: он сидел и улыбался в течение всего этого.

Когда они ушли, Джафи сказал:

— Она не проживет с ним больше полугода. Рода — еще та оторва, она уж лучше в джинсы влатается и стопом поедет, чем станет рассиживать по чикагским апартаментам.

— Ты ее очень любишь, правда?

— Чертовски правда, я сам должен был бы на ней жениться.

— Но ведь она твоя сестра.

— Да мне надристать. Ей нужен настоящий мужчина — такой как я. Ты просто не знаешь, какая она дикая, ты с нею в лесах не рос. — Рода была очень милой — жалко только, что приехала с женихом. Из всего этого столпотворения женщин я себе еще ни одной не присмотрел — не то, чтобы я слишком сильно уж старался, но иногда было одиноко видеть, как все парочками отваливают и хорошо проводят время, а мне остается свертываться калачиком у себя в спальнике в кустах роз, вздыхать и презрительно фыркать. Мне оставалисъ лишь вкус красного вина во рту да поленница дров.

Но затем в оленьем питомнике я находил что-нибудь вроде дохлой вороны и думал: вот хорошенькое зрелище для чувствительных глаз человеческих, а всё — от секса. И снова выкидывал секс из головы. Пока будет светить солнце — мигать и сиять снова, — мне будет довольно. Я буду добр, буду пребывать в одиночестве, я не стану никуда тыкаться — буду отдыхать и буду добрым. «Сострадание — вот путеводная звез-

да, — сказал Будда. — Не спорь с властями или с женщинами. Проси. Будь кроток.» Я написал прелестное стихотворение, адресованное всем, пришедшим на вечеринку: «Под вашими ль веками — войны и шелк… но нет там святых, все ушли, чтоб быть в безопасности с другими». Я и в самом деле считал себя каким-то сумасшедшим святым. Это основывалось на том, что я говорил себе: «Рэй, не гоняйся за киром, не гоняйся за бабьим возбуждением, не болтай много, сиди в своей избушке и наслаждайся естественным взаимоотношением вещей как они есть,» — но осуществить это было трудно: каждые выходные к нам на горку поднимались всякие хорошенькие щлюшки и даже оставалисъ на ночь. Однажды красивая брюнетка все-таки согласилась пойти со мною наверх, и мы остались в темноте на моей дневной циновке, когда дверь неожиданно распахнулась и внутрь, танцуя и смеясь, ввалились Шон с Джо Мэхони: они нарочно злили меня… или же в самом деле поверили в мою аскезу и уподобились ангелам, снизошедшим, дабы отогнать прочь дьяволицу. Им это и впрямь удалось. Временами, когда я сильно напивался и улетал, сидя по-турецки посреди этих безумных дебошей, ко мне на самом деле приходили видения святых

и пустых снегов прямо у меня под веками, а когда я открывал глаза, то видел всех своих хороших друзей: они сидели вокруг и ждали, когда я им все объясню; никто ни разу не счел мое поведение странным — оно было довольно естественным среди буддистов; и объяснял я им что-то, открывая глаза, или нет — их все удовлетворяло. Фактически, весь этот сезон меня просто захлестывало желание закрывать в компании глаза. Девчонки от этого, я думаю, приходили в ужас:

— Зачем он постоянно сидит с закрытыми глазами?

Крошка Праджна, двухгодовалая дочурка Шона, подходила и тыкала пальчиком мне в закрытые глаза, говоря при этом:

— Буба. Хак! — А иногда, вместо того, чтобы сидеть и чесать в гостиной языком, я предпочитал брать ее с собою в маленькие волшебные прогулки по двору, и мы гуляли, держась за руки.

Что же до Джафи, то он был доволен всем, что бы я ни делал, но при одном условии — если я не даю маху, вроде того раза, когда у меня начала коптить керосиновая лампа от того, что я слишком высоко выкрутил фитиль, иди когда я недостаточно хорошо наточил топор. В таких случаях он бывал весьма суров:

— Тебе следует научиться, — говорил он. — Черт возьми, единственное, чего я терпеть не могу, — это когда что-нибудь делают неправильно. — Поразительно, какие ужины он варганил из своей части продуктов на полочке — из всяких травок, сухих корешков, которые покупал в Китайском Квартале: всего понемножку, с соевым соусом, и все это вываливалось сверху на свежесваренный рис и было восхитительно вкусно, когда ешь палочками. И вот мы сидели в сумерках под рев деревьев, не закрывая широко распахнутых окон — а холодно — и уминали вкуснющие домашние китайские блюда. Джафи знал, как на самом деле надо обращаться с палочками, и энергично набивал себе рот. После я иногда мыл тарелки и уходил помедитировать на свою циновку под эвкалипты, а в окне избушки виднелся бурый отсвет керосинки Джафи — там он сидел, читал и ковырялся в зубах. Временами он подходил к двери и орал:

— Хоо! — а я не отзывался и слышал, как он бормочет: — Куда это, к черту, он запропал? — И я видел, как он вглядывается в ночь, ища своего бхикку. Как-то ночью я сидел и медитировал, и вдруг услышал справа от себя громкий треск: я взглянул в ту сторону — там стоял олень, снова

пришедший навестить заброшенный олений парк и пожевать сухой листвы. Через всю вечернюю долину донесся скорбный рев мула: «хии-хо!» — он ломался на ветру, словно йодел: словно рог, в который дует некий ужасно печальный ангел: словно напоминание людям, переваривающим дома обед, что не все так хорошо, как они думают. И все-таки то был просто-напросто любовный клич одного мула другому. Но именно поэтому…

Однажды ночью я медитировал в таком совершенном спокойствии, что два прилетевших комара уселись мне на каждую скулу и долго просидели там, не кусая меня, а потом улетели, так и не ужалив.

27

За несколько дней до прощального вечера мы с Джафи крупно повздорили. Мы поехали в Сан-Франциско на причал — погрузить на судно его велосипед, а потом завернули на Скид-Роу под моросившим дождичком, чтобы постричься подешевле в учебной парикмахерской при колледже и пошарить по магазинам Армии Спасения и «Гудвилла» — может, найдется теплое белье и все остальное. Пока мы бродили по мокрым возбуждающим улицам («Похоже на Сиэттл!» — орал он), меня обуяло желание надраться и отпасть. Я купил пузырь красного портвешка, затащил Джафи в переулок и мы вмазали.

— Не пей так много, — сказал он. — Ты не забыл: нам после этого еще в Беркли надо — на лекцию и диспут в Буддистский Центр?

— Ай, да не хочу я ничего — я хочу надраться на задворках.

— Но ведь они тебя ждут: я им в прошлом году все твои стихи читал.

— Да и плевать. Смотри, как туман ползет по переулку, смотри, какой у нас рубиновый портвейн,

разве тебе не хочется выйти на ветер и петь?

— Не хочется. Знаешь ли, Рэй, Какоэтес говорит, что ты слишком много пьешь.

— Дак у него ж язва! Почему, ты думаешь, он язву себе заработал? Потому что сам слишком много пил. Разве у меня есть язва? Да ни в жисть! Я пью для радости! Если тебе не нравится кирять, можешь валить на свою лекцию. Я тебя подожду у Кафлина дома.

— Но ты же все пропустишь из-за какого-то винища.

— В вине — мудрость, черт бы тебя побрал! — завопил я. — На-ка, запендюрь!

— Не буду!

— Ну как хочешь. — И я высосал весь пузырь без остатка, и мы вернулись на Шестую улицу, где я немедленно залетел в тот же самый магазинчик и купил себе еще. Теперь вот я чувствовал себя прекрасно.

Джафи расстроился и разочаровался.

— И ты после этого рассчитываешь стать хорошим бхикку или даже Бодхисаттвой Махасаттвой, если всегда так нажираешься?

— Ты что — забыл последнюю картинку про Быков, когда он напивается с мясниками?

— Ну так и что? Как ты можешь постигать суть

собственного разума, если в голове у тебя все плывет, зубы — в пятнах, а желудок выворачивает наизнанку?

— Ничего не выворачивает, мне по кайфу. Я мог бы прямо сейчас воспарить в этом тумане и облететь весь Сан-Франциско, как чайка. Я тебе разве не рассказывал про здешний Скид-Роу — я тут раньше жил…

— Я сам жил на Скид-Роу в Сиэттле, я все про него знаю.

Неонки баров и магазинчиков пылали в сером сумраке дождливого дня. Мне было клево. После того, как нас постригли, мы зашли в «Гудвилл», порылись по ящикам и нашли себе носков, маек, всяких ремешков и прочей дребедени, за которую заплатили несколько пенни. Я продолжал исподтишка посасывать винцо из бутылки, которую заткнул за пояс штанов. Джафи передергивало от отвращения. Затем мы влезли в наш драндулет и поехали в Беркли по мосту, блестевшему от дождя, к домикам Окленда, потом сквозь центр города, где Джафи захотел найти джинсы, которые бы на меня налезли. Я все время слегка искушал его, и к концу он смягчился и хлебнул чуть-чуть — и прочитал мне стихотворение, которое написал, пока меня стригли на Скид-Роу:

«Цырюльня современного колледжа, смитовы глаза закрыты — переживает стрижку, опасаясь ее уродства за 50 центов, студент-парикмахер с оливковой кожей, на его куртке — "Гарсия", двое светловолосых мальчишек, у одного — испуганное лицо и уши топырятся, наблюдают из кресел, скажи ему: "Ты маленький уродец, и уши у тебя лопухи," — и он расплачется и обидится, а это вовсе неправда, другой — тонколицый, развитой, сосредоточенный, заплатанные джинсы и потертые башмаки — наблюдает за мною, нежное страдающее дитя, которое, созрев, заскорузлеет и взалкает, Рэй и я с пузырем рубинового портвейна у нас внутри дождливым майским днем, в этом городишке нет даже поношенных "ливайсов" нашего размера, старое училище парикмахеров — засранцы из фазанки, трущобные причесоны, карьеры пожилых парикмахеров начинаются уже сейчас, расцветают пышным цветом.»

— Вот видишь, — сказал я, — ты б никогда не написал такого стихотворения, если б вино не пришлось тебе по кайфу?

— Ах, да я бы все равно его сочинил. Ты же все время слишком надираешься, я вообще не врубаюсь, как ты собираешься добиться просветления и умудриться остаться в горах: ты же постоянно

будешь бегать вниз и пропивать все те деньги, что тебе выдадут на фасоль, а кончишь вообще посреди улицы под дождем, вусмерть пьяный, и тебя загребут, и тебе придется перерождаться в трезвенника-бармена, чтоб искупить свою карму. — Его на самом деле это печалило, он тревожился обо мне, я же продолжал себе кирять.

Когда мы добрались до домика Алвы, как раз подошло время ехать в Буддистский Центр на лекцию, и я сказал:

— Посижу здесь, попью винца и подожду тебя.

— Ладно, — произнес Джафи, смурно на меня посмотрев. — Живи как знаешь.

Его не было два часа. Мне стало грустно, я слишком много выпил, и меня теперь мутило. Но я был полон решимости не отключаться, все выстрадать и доказать Джафи кое-что. Уже смеркалось, когда он вдруг примчался обратно, пьянющий в стельку, и завопил:

— И знаешь, что было, Смит? Прихожу это я к буддистам на лекцию, а они все глушат неразбавленное сакэ чайными чашками, все уже хорошенькие — ах, эти чокнутые японские святые! Ты был прав! Никакой разницы! Мы нажрались и говорили о праджне! Было ништяк! — И после этого мы с Джафи никогда уже не ссорились.

28

Настал вечер большой попойки. Снизу до меня очень отчетливо доносился гвалт приготовлений — меня он просто угнетал. Господи ты Боже мой, общительность — это всего лишь одна большая улыбка, а в улыбке нет ничего, кроме зубов, ах, если б я мог остаться здесь, наверху, отдыхать и быть добрым. Но кто-то притащил наверх вина, и я сорвался.

В ту ночь вино лилось по нашей горке буквально рекой. Шон натащил во двор громадных бревен для костра. Ночь была ясной и звездной, теплой и приятной: май месяц. Собрались все. Вся вечеринка вскоре опять явно поделилась на три части. Я, в основном, торчал в гостиной, где мы крутили на вертушке пластинки Кэла Тжейдера, куча девчонок танцевала, а Бад, я, Шон и иногда Алва с его новым корешем Джорджем играли на бонгах — то есть колотили по перевернутым баночкам.

На дворе снаружи было поспокойнее: свет костра и множество людей сидит на длинных бревнах, которые Шон уложил вокруг кострища,

а на широкой доске выставлен закусон, что впору бы подавать королю и его голодной свите. Здесь, у костра, вдалеке от неистовства об-бонгенной гостиной, блистал Какоэтес — он разговаривал о поэзии с местными остроумцами примерно вот в таких тонах:

— Маршалл Дэшиэл слишком занят отращиванием собственной бороды и ездой на «мерседес-бенце» по коктейлям и приемам Чеви Чейза и на кончике иглы Клеопатры, О. О. Даулера катают по Лонг-Айленду в лимузинах, а лето он проводит визжа на Площади Святого Марка, а Крутняк Шорт, увы, успешно умудряется оставаться хлыщом с Сэвил-Роу — при котелке и жилетке, а что касается Мануэля Драббинга, так он просто подбрасывает четвертаки, чтобы определить, кто пролетит в его следующей рецензий, а про Омара Тотта мне вообще нечего сказать. Альберту Лоу Ливингстону только и дел, что раздавать автографы на собственных романах да слать на Рождество открытки Саре Воэн; Ариадны Джоунз домогается компания Форда; Леонтина МакДжи говорит, что слишком стара, — ну и кто у нас остается?

— Рональд Фёрбэнк, — сказал Кафлин.

— Я полагаю, единственные настоящие поэты

на всю страну — я имею в виду, за пределами нашего дворика — это Доктор Музиаль, который, вероятно, сейчас бормочет себе под нос прямо за шторами этой гостиной, и Ди Сэмпсон, который слишком уж богат. У нас тут остается старый добрый Джафи, который уезжает в Японию, наш завывающий друг Голдбук да наш г-н Кафлин, у которого такой острый язычок. Ей-Богу, я тут — единственный приличный поэт. У меня хоть — честное анархистское прошлое. По крайней мере, нос у меня — в инее, на ногах — сапоги, а во рту — слова протеста. — Он погладил себя по усам.

— А как же Смит?

— Что ж, я полагаю, он — Бодхисаттва в самом ужасающем смысле этого слова, вот, пожалуй, и всё. (В сторону, презрительно ухмыльнувшись: — К тому же, он вечно бух-хой.)

Генри Морли в тот вечер тоже появился — очень ненадолго, и повел себя довольно странно: все время просидел где-то позади, читая комиксы «Мэд» и новый журнальчик под названием «Хип», а ушел очень рано, заметив на прощанье:

— «Горячие собаки» у вас слишком тощие — как вы думаете, это знак времени, или просто Армор со Свифтом употребляют бродячих мексиканцев, а? — С ним никто не разговаривал, кроме меня и

Джафи. Мне стало жалко, что он уходит так рано, он был неухватим, как призрак, — как и всегда, впрочем. Тем не менее, по этому поводу он надел совершенно новый коричневый костюм — и вот его вдруг не стало.

А на горку тем временем, где звездочки клевали на верхушках деревьев носами, пробирались случайные парочки — обжиматься, или же просто приносили кувшины вина и гитары и устраивали в нашей избушке отдельные маленькие вечеринки. Великолепная ночь. Наконец, после работы приехал отец Джафи — ладно скроенный крутой мужичок, совсем как Джафи, лысоватый, но абсолютно энергичный и сумасшедший, как и сынок. Он сразу же пустился плясать дикие мамбо с девчонками, а я безумно барабанил по банкам.

— Давай, чувак! — Более неистового танцора вам видеть, наверное, не доводилось: он перегибался назад так, что почти что падал, вращая чреслами вокруг своей партнерши, потный, жадный, с радостным оскалом — безумнейший папаша из всех, виданных мною. Совсем недавно он разрушил чинный прием на свадьбе своей дочери, когда выскочил на лужайку на четвереньках, с тигриной шкурой на спине: он щелкал зубами и лаял, гоняясь за дамами по пятам. Те-

перь он снял высоченную деваху почти шести футов ростом по имени Джейн, вертел и крутил ее как хотел и чуть было не снес книжный шкаф. Джафи по-прежнему бродил от одной группы веселившихся к другой с огромным кувшином в руке, и лицо его сияло от счастья. Компания в гостиной ненадолго отсосала к себе общество от костра, и вскоре Психея пустилась с Джафи в безумный пляс, потом подскочил Шон и вихрем завертел ее, а она сделала вид, что у нее закружилась голова, и как бы в полуобмороке грохнулась в аккурат между Бадом и мной — мы сидели на полу и барабанили (между Бадом и мной, у которых никогда не было собственных девчонок, и которые на все забили), — и лежала там целую секунду, как бы уснув у нас на коленях. Мы раздували свои трубки и барабанили дальше. Полли Уитмор не вылазила из кухни, где помогала Кристине готовить, и даже сделала целый поднос собственных вкусных печенюшек. Я видел, что ей одиноко, поскольку здесь была Психея, и Джафи ей не принадлежал, поэтому я подлетел и сграбастал ее за талию, но она взглянула на меня с таким страхом, что я ничего не стал предпринимать. Казалось, я ей внушал ужас. Принцесса тоже была тут со своим новым дружком — и тоже

сидела в углу и дулась.

Я сказал Джафи:

— Какого черта ты собираешься делать со всеми этими девками? Не хочешь ли мне одну отдать?

— Бери какую хочешь. Сегодня ночью я нейтрален.

Я пошел к костру послушать последние перлы Какоэтеса. На бревне сидел Артур Уэйн — хорошо одетый, при галстуке и костюме, и я подвалил к нему и спросил:

— Ну так что такое буддизм? Фантастическая магия воображения во вспышке молнии, это пьесы, сны или даже не пьесы, сны?

— Нет, для меня буддизм — это узнавать как можно больше людей. — Вот он бродил тут среди веселившейся толпы, без дураков приветливый, всем пожимал руки и болтал — как на регулярном светском рауте с коктейлями. Внутри попойка становилась все более и более неистовой. Я сам начал танцевать с высоченной девчонкой. Она была дикой. Я хотел было тихонько завлечь ее с собою на горку с пузырем, но здесь был ее муж. Позже, уже ночью, откуда-то возник какой-то цветной псих и стал как по бонгам колотить себе по голове и щекам, по губам, по груди — шлепки раздавались в самом деле громкие, великий бит,

грандиозный бит. Все были в восторге и объявили, что он, должно быть, — Бодхисаттва.

Всевозможные люди рекой текли из города — слухи о знаменитой вечеринке кружили по всем нашим барам. Я вдруг поднял глаза: Алва и Джордж бродили нагишом.

— Что вы делаете?

— О, мы просто решили снять одежду.

Никто, казалось, не возражал. И впрямь: я видел, как хорошо одетые Какоэтес и Артур Уэйн вели вежливую беседу при свете костра с двумя голыми безумцами — серьезную такую беседу о положении в мире. В конце концов, Джафи тоже разделся и продолжал бродить везде со своим кувшином. Всякий раз, когда какая-нибудь из его девчонок бросала на него взгляд, он испускал громогласный рев и кидался на нее, а та с визгом вылетала из дома. Безумие. Что случилось бы, если бы легавые из Корте-Мадеры про это прослышали и с ревом примчались бы на своих патрульных машинах? Костер горел ярко, все жившие вдоль дороги могли спокойно наблюдать всё, что происходит во дворе. Но, тем не менее, у костра, с едой на столе, рядом с гитаристами, среди покачивавшихся под легким ветерком деревьев странным образом несколько обнажен-

ных мужчин не казались неуместными во всей этой компании.

Я поговорил с отцом Джафи и спросил у него:

— Что вы думаете насчет того, что Джафи голый?

— О, да мне наплевать — что до меня, так Джаф может делать все, что ему хочется. Слушай, а где эта здоровенная старуха, с которой мы плясали? — Он был чистейшим папашей Бродяги Дхармы. Ему тоже пришлось несладко — особенно поначалу, когда он жил в лесах Орегона, и приходилось заботиться обо всем семействе в хижине, которую сам построил, с мозолями и потом, пытаясь вырастить хоть что-нибудь в безжалостной стране с суровыми зимами. Теперь он стал зажиточным подрядчиком по малярным работам, выстроил себе один из прекраснейших домов во всей Милл-Вэлли и хорошо воспитал сестру Джафи. Мать же у Джафи жила одна в пансионе где-то на севере. Джафи собирался ухаживать за нею, когда вернется из Японии. Я видел у него одно одинокое письмо от нее. Джафи говорил, что его родители разошлись с предельной окончательностью, но когда он вернется из монастыря, то прикинет, как о ней можно будет позаботиться. Джафи не любил о ней разговари-

вать, а его отец, разумеется, вообще никогда ее не поминал. Но мне его батя понравился — как он отплясывал, безумный, весь в поту, как не обращал внимания ни на какие чудачества, что происходили вокруг, как позволял всем делать то, чего они все равно хотели, и как уехал около полуночи домой, осыпаемый дождем цветов, который танцевал по крыше его машины, оставленной прямо на дороге.

Эл Ларк там был еще одним славным парнем — он полулежал, пощипывая струны своей гитары, беря разрозненные рокотавшие блюзовые аккорды, а иногда наигрывал фламенко и смотрел в пространство перед собой, а когда вечеринка в три часа утра завершилась, они с женой уснули в спальниках прямо во дворе, и я слышал, как они возились в траве:

— Давай потанцуем, — говорила она.

— Ах, да спи ты! — отвечал он.

Психея и Джафи той ночью разругались, и она не захотела подниматься с ним на горку и отдавать дань его свежим белым простыням — и вылетела из дому, хлопнув дверью. Я смотрел, как Джафи поднимается по склону, пьяно покачиваясь: вечеринка окончилась.

Я пошел проводить Психею до машины и ска-

зал:

— Перестань, зачем ты делаешь Джафи несчастным в его прощальную ночь.

— Ох, он гадко со мною обошелся, пошел он к черту.

— Да перестань же, никто тебя у нас на горке не съест.

— Мне плевать, я еду домой, в город.

— Это не очень красиво с твоей стороны — к тому же, Джафи мне сказал, что любит тебя.

— Я в это не верю.

— Такова жизнь, — ответил я, отходя прочь с кувшином, полным вина: я зацепил его за ручку одним пальцам и направился наверх, слыша, как Психея пытается сдать назад и развернуться на узкой дороге: задние колеса у нее соскользнули в канаву, и она так и не смогла оттуда выбраться, и все равно пришлось заночевать у Кристины на полу. А тем временем Бад, Кафлин, Алва и Джордж разлеглись у нас по всей избушке на различных одеялах и в спальниках. Я расстелил свой мешок в сладкой траве и почувствовал себя самым везучим во всей компании. Итак, вечеринка завершилась, с воплями покончено — а что достигнуто? Я запел в темноте, услаждая себя глотками из кувшина. Звезды были ослепитель-

но ярки.

— Комар величиной с гору Сумэру — гораздо больше, чем ты думаешь! — заорал Кафлин изнутри, услыхав, как я пою.

Я завопил в ответ:

— Конское копыто — нежнее, чем выглядит!

Из избушки в семейных трусах выбежал Алва и стал танцевать и выть свои поэмы прямо в траве. В конце мы раскрутили Бада, и он горячо заговорил о своей последней идее. У нас там закрутилась новая вечеринка.

— Пошли вниз, посмотрим, сколько девок осталось! — Я спустился с горки, половину пути просто прокатившись по траве, и снова попытался заставить Психею подняться к нам, но она обрубилась на полу, как электролампочка. Угли от огромного костра были все еще раскалены докрасна, и вокруг по-прежнему было очень жарко. Шон храпел в спальне у жены. Я взял со стола немного хлеба, намазал его творогом и съел, запивая вином. Я сидел у кострища совсем один, а на востоке занималась серая заря.

— Ну, парень, и напился же я! — сказал я себе. — Проснись! проснись! — завопил я. — Козел дня гасит зарю своим задом! Никаких «но» и «если»! Бах! Давайте, девки! калеки! отребье! ворье! сво-

лота! висельники! Бегите! — Вдруг вслед за этим на меня снизошло совершенно ошеломительное ощущение убогости человеческих существ, кем бы они ни были, — их лиц, напряженных губ, личностей, натужного веселья, мелких капризов, чувств утраты, их скучных и пустых острот, так скоро забываемых: ах, ради чего все это? Я знал, что звучание тишины — везде, и поэтому всё везде — тишина. Предположим, мы внезапно просыпаемся и видим: то, что мы считали тем-то и тем-то, — вовсе не то-то и то-то? Я поковылял наверх, приветствуемый птицами, и посмотрел на съежившиеся спавшие фигурки на полу. Кто все эти странные призраки, чьи корни — вместе с моими в глупеньких приключениях земли? И кто я сам? Бедняга Джафи — в восемь утра он поднялся, постучал в свою сковородку, спел «Гоччами» и позвал всех на оладьи.

29

Празднование продолжалось несколько дней; утром третьего дня по всему участку все еще валялись разные люди, когда мы с Джафи потихоньку вытащили свои рюкзаки, запихали туда немного тщательно подобранных припасов и зашагали вниз по дороге в оранжевом свете раннего калифорнийского солнышка: настали золотые деньки. День обещал быть превосходным, мы снова погружались в родную стихию — выходили на тропу.

У Джафи было приподнятое настроение.

— Черт возьми, как хорошо оторваться от всего этого распада и уйти в леса. Когда я приеду из Японии, Рэй, и по-настоящему похолодает, мы наденем теплое белье и поедем стопом через всю землю. Если только можешь, вообрази себе одну сплошную тайгу от океана до гор Аляски, до Кламата, в которой можно так хорошо быть бхикку, вообрази озеро с миллионом диких гусей. Уоо! Знаешь, что по-китайски значит «уоо»?

— Что?

— Туман. Здесь, в Приморском Округе, леса

просто великолепны, сегодня я тебе покажу лес Мьюир-Вудз, а к северу там — сплошняком настоящие старые тихоокеанские прибрежные горы, будущий дом для Тела Дхармы. Знаешь, что я вообще собираюсь сделать? Я напишу новую длинную поэму под названием «Реки и Горы Без Конца» — только и буду, что писатъ ее и писать, не останавливаясь, на длинном свитке, и он будет разворачиваться дальше и дальше, являя новые дива, а то, что прошло, будет постоянно забываться, понимаешь — как река или как какая-нибудь из настоящих длинных китайских картин на шелке, которые изображают двух маленьких человечков, путешествующих среди бескрайнего пейзажа со старыми корявыми деревьями и горами — такими высокими, что они сливаются с туманом наверху, в шелковой пустоте. Я буду писать ее три тысячи лет, и она будет просто набита сведениями о защите почв, об Управлении Долины Теннесси, об астрономии, о геологии, о путешествиях Сюань Цзана, о теории китайской живописи, о лесонасаждении, об экологии океана и пищевых цепочках.

— Начинай, парень. — Как водится, я шагал за ним следом, и когда мы полезли вверх, хорошо ощущая у себя за плечами рюкзаки, словно на-

стоящие вьючные мулы, которым не по себе без поклажи, то раздалось то же самое, одинокое, старое доброе «туп-туп» вверх по тропе — медленно, милю в час. Мы дошли до конца крутой дороги, миновали несколько домиков, прилепившихся вплотную к отвесным утесам, заросшим кустарником, с которых стекали струйки водопадиков, поднялись на высокую луговину, полную бабочек, сена и семичасовой утренней росы, потом спустились на утрамбованную земляную дорогу, дошли по ней до самого конца, а она забирала все выше и выше, пока перед нами не раскрылись дали Корте-Мадеры и долины Милл-Вэлли и не стали видны даже красные верхушки столбов моста Золотые Ворота вдалеке.

— Завтра днем, когда рванем на Стимсон-Бич, — сказал Джафи, — ты увидишь весь белый город Сан-Франциско у голубой бухты во множестве миль отсюда. Рэй, ей-Богу, позднее, в нашей будущей жизни, мы сможем жить среди этих калифорнийских холмов свободным и беспечным племенем, у нас будут девчонки и десятки лучистых просветленных карапузов, мы будем жить, как индейцы — в хоганах[31], питаться ягодами

---

[31] Примечания: 31
Шатер, обмазанный глиной, у индейцев-навахо.

и побегами…

— А фасоли не будет?

— Мы станем писать стихи, у нас будет печатный станок, и мы будем их печатать — издательство «Дхарма-Пресс», — мы всё поэтизируем и издадим толстенную книжку ледяных бомбочек для сисястой публики.

— Ах, да публика не так уж плоха — она ведь тоже страдает. Всегда ведь можно прочесть, как где-нибудь на Среднем Западе сгорела хибарка из толя и в огне погибло трое детишек, там же фото плачущих родителей. И даже котенок сгорел. Джафи, как ты думаешь: Бог что — создал мир, чтобы развлечься, потому что ему было скучно, или как? Если так, то Он просто подонок.

— Хо, кого ты имеешь в виду под Богом?

— Просто Татхагату, если тебе угодно.

— Ну так в сутре говорится, что Бог — или Татхагата — сам не испускает мир из своей утробы, а мир появляетея только благодаря невежеству разумных существ.

— Но он же испустил из себя разумных существ — как и их невежество. Все это уж слишком убого. Я я не успокоюсь, пока не разузнаю, почему, Джафи, почему.

— Ах, да не отягощай ты сути своего разума.

Помни, что в чистой сути разума Татхагаты нет вопроса «почему», нет даже никакого значения, придаваемого ему.

— Ну, тогда на самом деле ничего и не происходит.

Он кинул в меня палкой и попал по ноге.

— Ну, и этого тоже не случилось, — сказал я.

— Я действительно не знаю, Рэй, но ценю твою мировую скорбь. В самом деле. Вот посмотри на нашу вечеринку. Все хотели хорошенько оттянуться и очень сильно старались, но на следующий день мы все проснулись и ощутили какую-то печаль и отъединенность. Что ты думаешь о смерти, Рэй?

— Я думаю, смерть — наша награда. Когда мы умрем, то отправимся прямиком в нирванные Небеса — и все дела.

— Но предположим, ты переродился в нижних преисподних, и дьяволы пихают тебе в глотку раскаленные докрасна железные шары.

— Жизнь уже сунула мне в рот свою железную лапу. Я же не считаю это ничем, кроме мечтаний, сварганенных какими-нибудь истеричными монахами, которые не поняли мира Будды под Деревом Бо или, если уж на то пошло, мира Христа, который глядел сверху вниз, на макушки

своих мучителей, и прощал их.

— А тебе на самом деле нравится Христос, правда?

— Конечно, нравится. Ведь, в конце концов, множество людей считает его Майтрейей — Буддой, который по пророчествам появится после Шакьямуни, ведь сам знаешь, что «Майтрейя» на санскрите означает «Любовь», а Христос ведь говорил только о любви.

— Ох, только не надо христианства мне проповедовать, я и так вижу, что на своем смертном одре ты станешь целовать крест, будто какой-нибудь старый Карамазов или как наш общий приятель Дуайт Годдард, который всю жизнь был буддистом, а в последние дни возвратился к христианству. Нет уж, это не для меня, я хочу по многу часов в день проводить в одиноком храме, медитировать перед запечатанной статуей Кваннона, которую никому никогда не дозволяется видеть, поскольку она — слишком могущественна. Бей сильней, старый алмаз!

— Все это вымоется.

— Помнишь Рола Стурласона, моего кореша, что уехал в Японию изучать камни в Рёандзи? Он поплыл на сухогрузе, который назывался «Морской Змей», и поэтому в кают-компании на

переборке нарисовал здоровенное панно с морским змеем и русалками к восторгу всего экипажа — те врубились в него как ненормальные и все немедленно захотели стать Бродягами Дхармы. Теперь Рол восходит на священную гору Хиэй в Киото, быть может, по колено в снегу, а впереди наверх не проложено ни одной тропинки, круча круче, сквозь заросли бамбука и корявые сосенки, как на рисунках кистью. Ноги промокли, обед позабыт — вот путь восхождения.

— Ну ладно, а что ты собираешься носить в монастыре?

— Ох, чувак, то, что надо, — вещи в стиле старой Династии Тан, длинные, черные, просторные, с огромными опадающими рукавами и смешными складками: в них чувствуешь себя настоящим восточным человеком.

— Алва говорит, что в то время, как парни вроде нас залипают на том, чтобы стать настоящими восточными людьми и носить халаты, действительные восточные люди там читают про сюрреализм, про Чарльза Дарвина и торчат от западных деловых костюмов.

— Восток все равно с Западом встретится. Прикинь только, какая великая всемирная революция произойдет, когда Восток окончательно

сомкнется с Западом, и только парни вроде нас могут все это заварить. Только подумай: миллионы парней по всему свету, с рюкзаками за спиной, бродят по глубинке, и ездят стопом, и каждому доносят весть.

— Это очень похоже на первые дни Крестовых Походов — Вальтер Безденежный и Петр Отшельник ведут оборванные банды верующих в Святую Землю.

— Ага, но всё то был сплошной европейский мрак и чушь, я хочу, чтобы у моих Бродяг Дхармы в сердцах была весна — когда цветочки по-девичьи распускаются, а птички роняют вниз маленькие свежие какашки, пугая кошек, лишь миг назад хотевших их съесть.

— О чем ты думаешь?

— Просто складываю в голове стихи, взбираясь на гору Тамалпаис. Видишь — вон она, впереди наверху, красивая, как любая гора на свете, у нее такие прекрасные очертания, я очень люблю Тамалпаис. Сегодня заночуем далеко за нею. До нее идти целый день, до самого вечера.

Приморские земли оказались более по-сельски приветливыми, нежели суровые Сьерры, в которые мы лазили прошлой осенью: здесь все было в цветах, цветах, деревьях, кустарниках, но у тропы

росло и много ядовитого дубка. Когда мы дошли до конца грунтовки, то неожиданно попали в густой лес секвой и пошли по хоженой просеке — такой глубокой, что свежее утреннее солнце едва пробивалось сюда, и внизу было влажно и прохладно. Но запах здесь был чистым, глубоким и густым: пахло хвоей и сырыми стволами. Этим утром рот у Джафи не закрывался. Он снова стал маленьким мальчуганом, стоило лишь выйти на тропу.

— Для меня единственная лажа во всей этой затее с японским монастырем — в том, что, несмотря на весь свой интеллект и добрые намерения, американцы там настолько мало чувствуют настоящую Америку и то, кто люди, врубающиеся здесь в буддизм, есть на самом деле; к тому же, поэзия им совершенно ни к чему.

— Кому?

— Ну, тем людям, которые меня туда посылают и всё финансируют. Они тратят свои неслабые башли на устройство элегантных садиков, на книги, на японскую архитектуру и прочую чушь, которая никому не понравится и которую все равно не оценить никому, кроме разведенных американских богачей с круизов по Японии — а на самом-то деле им надо всего лишь построить

или купить старый джапский домик с огородом, чтобы было место, где тусовались бы все наши кошаки и чувствовали себя буддистами: в смысле — чтоб был настоящий цветок чего-нибудь, а не просто обычная американская ебота с показухой для среднего класса. И все равно я этого жду не дождусь, ох как же хочется увидеть себя поутру — сижу я такой на циновках за низеньким столиком, стучу на машинке, а рядом — мой хибачи, на нем котелок с кипятком подогревается, а все мои бумаги, карты, трубка, фонарик аккуратненько убраны, а снаружи — сливы и сосны со снегом на сучьях, а наверху, на горе Хиэйдзан снег — все глубже, и повсюду вокруг — суги и хиноки, что значит — красное дерево и кедры, мальчик мой. Крохотные часовенки, упрятанные в глубине каменистых тропок, заповедные уголки, покрытые холодным мхом, где квакают лягушки, а внутри — статуэтки, висят масляные лампады и золотые лотосы, и картины, и все пропитано древними запахами благовоний, и стоят лакированные раки со статуэтками. — Его судно отходило через два дня. — Но мне все-таки грустно уезжать из Калифорнии… вот поэтому я и хотел напоследок подольше посмотреть на нее сегодня вместе с тобою, Рэй.

Мы выбрались из глубины секвой на дорогу, где стоял охотничий домик, перешли на другую сторону и снова нырнули в кусты — на тропу, о которой, может статься, вообще никто не знал, кроме пары-другой туристов: и оказались в лесах Мьюир-Вудз. Они тянулись на много миль перед нами — целая огромная долина. Две мили нас вела старая дорога на лесоповал, а затем Джафи сошел с нее, и мы продрались по склону наверх и вышли на еще одну тропу, которая и вообще присниться бы никому не могла. Двинулись по ней: вверх-вниз вдоль кувыркавшегося ручейка — там, где его надо было переходить, лежали упавшие стволы, а иногда были перекинуты целые мостики: Джафи сказал, что их соорудили бойскауты, распилив бревна вдоль, чтобы по плоскому удобнее было идти. Затем мы вскарабкались по отвесной круче с соснами и вышли на шоссе, поднялись по заросшему травой склону холма и наткнулись на что-то вроде театра под открытым небом: он был выстроен в греческом стиле, вокруг — амфитеатр с каменными скамьями и голая каменная площадка для четырехмерных представлений Эсхила и Софокла. Мы попили воды и, разувшись, сели отдохнуть и посмотреть немую пьесу с самой галерки. Далеко

внизу виднелся мост Золотые Ворота и белизна Сан-Франциско.

Джафи ни с того ни с сего начал вдруг визжать, ухать, свистеть и орать песни — просто переполнившись чистой радостью. Вокруг — ни души, никто не услышит.

— Вот так вот и ты будешь сидеть на вершине Опустошения этим летом, Рэй.

— Я буду распевать во всю глотку впервые в своей жизни.

— Да тебя там никто и не услышит, кроме, разве что, кроликов да медведя-критика. Рэй, Скагит, куда ты едешь, — самое замечательное место в Америке, там по ущельям змеится река, в ее долине нет совсем никаких людей, мокрые заснеженные горы плавно переходят в сухие сосновые и в глубокие долины, вроде Большой Бобровой и Малой Бобровой, и там еще остались самые лучшие в мире девственные угодья красного кедра. У меня из головы не идет мой брошенный пост на Кратерной горе: домик-то остался, а вокруг — никого, только кролики на пронизывающем ветру: ветер воет, они стареют, эти самые кролики в своих мохнатых гнездышках под валунами, им тепло, они жуют себе семена или что они там вообще жуют. Чем ближе ты к подлинной материи

— к камню-воздуху-огню и еще к лесу, парень, тем более духовен мир. Все эти люди, считающие себя закоренелыми материалистами-практиками, — ни хрена они не знают о материи, в башке у них только сонные идеи да понятия. — Он поднял руку. — Слышишь, как перепел кричит?

— Интересно, что у Шона сейчас делается?

— Ну, все уже встали и снова начали с этой старой красной кислятины, расселась и пока молчат. Им всем следовало пойти с нами — авось, чему-нибудь бы да научились. — Он взвалил рюкзак и пошагал дальше. За полчаса мы с ним вышли на прекрасный луг, куда нас через мелкие ручейки привела пыльная тропка: перед нами, наконец, лежал лагерь Потреро-Медоуз. Здесь была стоянка службы Национального Заповедника: каменный очаг, столики для пикников и все остальное, но до самых выходных никого здесь не будет. Хижина поста на вершине Тамалпаис в нескольких милях отсюда смотрела прямо на нас. Мы скинули рюкзаки и весь остаток дня спокойно продремали себе на солнышке; или же Джафи бегал вокруг, рассматривая бабочек и птичек, и что-то записывал в блокнот, а я бродил один по другому краю луговины, к северу, откуда в сторону моря тянулись каменистые пустоши,

совсем как в Сьеррах.

В сумерках Джафи развел хороший большой костер и затеял ужин. Мы очень устали и были счастливы. В тот вечер он приготовил суп, который я никогда не забуду: это, на самом деле, был самый лучший суп, который я ел с тех пор, как, став молодым писателем, в Нью-Йорке вдруг оказался этаким светским львенком и обедал в «Шамборе» или на кухне Анри Кру. Здесь же в котелок с водой бросили только пару пакетиков горохового концентрата вместе с жареным беконом, жиром и прочим и помешивали до кипения. У него был настоящий богатый вкус гороха, дымного бекона и поджарки впридачу — как раз то, что нужно есть в холодной сгущающейся тьме у костра, плюющегося искрами. К тому же, шарясь вокруг, Джафи нашел дождевики — настоящие грибы, но не обычные, зонтиками, а круглые комки белой твердой мякоти размером с грейпфрут: он порезал их и поджарил на сале, и мы их съели с гарниром из жареного риса. То был замечательный ужин. Мы вымыли посуду в клокотавшем ручье. Пламя костра ревело и отгоняло комаров. Молодая луна подглядывала сквозь сосновые ветви. Мы раскатали спальники на луговой траве и улеглись очень рано, усталые до костей.

— Ну, Рэй, — сказал Джафи, — очень скоро я уже буду далеко в море, а ты поедешь стопом по побережью в Сиэттл и через весь Скатит. Интересно, что случится со всеми нами.

На этой мечтательной теме мы и уснули. Где-то ночью я увидел очень явный сон, один из самых отчетливых в моей жизни: я ясно видел грязный, дымный, битком набитый китайский базар — нищие, разносчики, навьюченные лошади, жидкая грязь, закопченные котлы, кучи мусора и груды овощей на продажу, наваленные на грязные глиняные подносы прямо на земле; и вдруг — оборванец с гор, маленький, морщинистый, коричневый, невообразимый бродяга-китаец спустился с гор и просто стоит у входа на этот рынок и весь его озирает с непроницаемым юморком. Маленького роста, жилистый, лицо задубело и загорело до кирпичного под солнцем пустыни и гор; одет в одни лохмотья, подобранные Бог весть где; за спиной — кожаная котомка; босиком. Я очень редко встречал таких людей, и только в Мексике — может, они приходили в Монтеррей из тех голых скал: эти нищие, вероятно, жили там в пещерах. Но бродяга во сне был вдвое беднее, вдвое круче и бесконечно таинственнее — без сомнения, он был Джафи. Точно такой же широ-

кий рот, так же весело поблескивают глаза, такое же костлявое лицо (лицо как посмертная маска Достоевского, с выступающими надбровными дугами и квадратным черепом); он был таким же приземистым, как и Джафи. Я проснулся на рассвете и подумал: ух ты, так вот что с ним станет? Может, он оставит этот свой монастырь и просто-напросто исчезнет, и мы его никогда больше не увидим, а он станет призраком Хань Шана в горах Востока, и даже сами китайцы будут его опасаться — таким битым и драным он станет.

Я рассказал Джафи об этом. Он уже встал и, посвистывая, ворошил угли.

— Ладно, кончай валяться там в своем мешке и бить баклуши, лучше встань и принеси воды. Йоделахи-хоо! Рэй, я привезу тебе благовонных палочек из храма Киёмидзу у холодной воды и одну за другой уставлю их в большую бронзовую курильницу и совершу все необходимые поклоны — ништяк, а? Ну и приснилось же тебе! Если это я — значит, это я. Вечно в слезах, вечно юный, хоо! — Из рюкзака он вытащил маленький топорик, нарубил сучьев и развел потрескивавший костер. Туман еще висел в деревьях и стлался по земле. — Давай собираться и трогаться — пойдем, врубимся в лагерь Лорел-Делл. Потом по тропам

перевалим к морю и искупнемся.

— Четко. — В этот поход Джафи захватил вкуснейшую комбинацию для выработки энергии: хрусткие ржаные крекеры «Рай-Крисп», хороший острый сыр «чеддар» — целый клин, и кольцо копченой колбасы. Этим мы и позавтракали, запивая горячим свежим чаем, и почувствовали себя превосходно. Двое взрослых людей могут двое суток питаться одним этим концентрированным хлебом, этой колбасой (концентрированным мясом) и сыром — и весь провиант весит каких-нибурь полтора фунта. Джафи переполняли блестящие идеи типа этой. Что за надежда, что за человеческая энергия, что за истинно американский оптимизм помещались в его аккуратной фигурке? Вот он топал передо мною по тропе и кричал через плечо:

— Попробуй медитировать на ходу — просто иди и смотри себе под ноги, и не озирайся по сторонам, и тогда впадешь в транс, пока тропа будет под тобой разворачиваться.

В Лорел-Делл мы пришли около десяти: там тоже были установлены каменные очаги с решетками и столы, но вокруг было во сто крат прекраснее, чем на Потреро-Медоуз. Здесь раскинулись настоящие луга: сонная красотища

с мягкими травами полого клонилась вокруг, окаймленная тяжелой темно-зеленой чащей; не видно ничего, кроме волнующихся трав и ручейков.

— Ей-Богу, вернусь сюда и притащу только еду, керосин и примус, и буду готовить себе без дыма, и в Лесничестве ничего никогда не узнают.

— Ага, только если они засекут, что ты готовишь не в очаге, Смит, они тебя отсюда выдворят.

— Но что же я стану делать по выходным — веселиться с туристами? Я бы спрятался вон за тем красивым лугом. Я б остался здесь навсегда.

— А по тропе отсюда вниз — лишь пара миль до Стимсон-Бич и бакалейного магазина. — В полдень мы двинулись к пляжу. То был неимоверно изнурительный переход. Мы залезли высоко на луговину, откуда опять вдалеке завиднелся Сан-Франциско, затем по отвесной тропинке нырнули вниз — казалось, она падала до самого уровня моря; иногда по ней приходилось бежать или просто скользить на спине. Рядом несся поток. Я опередил Джафи и, счастливо распевая, разогнался по тропе так, что убежал на целую милю вперед и пришлось поджидать его внизу. Он же не спешил — наслаждался папоротниками и цветочками. Мы спрятали рюкзаки в груде опавших

листьев под кустами и, ничем не стесненные, зашагали к прибрежным лугам, мимо береговых ферм с пасущимися коровами — к пляжному поселку, где в лавке купили вина и выбрались на песочек, к волнам. День был зябкий, солнце проглядывало лишь изредка. Но нам было все по фиг. Мы в трусах прыгнули в океан, скоренько поплавали, вылезли, разложили колбасу, крекеры и сыр на газетке прямо в песке — пили вино и болтали. Я даже вздремнул. Джафи чувствовал себя очень хорошо.

— Черт подери, Рэй, ты никогда не узнаешь, как я счастлив, что мы решили на эти два дня сходить в поход. Мне снова клево. Я просто уверен, что из всего этого выйдет какой-нибудь добряк!

— Из чего — всего?

— Фиг знает — из того, как мы относимся к жизни. Мы же с тобой не собираемся проламывать никому черепа или экономно резать глотки, мы посвятили себя молитве за все разумные существа, и когда мы станем достаточно сильны, то на самом деле сможем это сделать — как святые в старину. Кто знает: может, мир пробудится и повсюду раскроется прекрасным цветком Дхармы.

Немного подремав, он проснулся, огляделся и сказал:

— Посмотри на все эти воды, что простираются до самой Японии. — Он все грустнел и грустнел, думая о своем отъезде.

30

Мы пошли обратно, откопали рюкзаки и снова двинулись вверх по тропе, что падала до самого моря: совершенно отвесный подъем, ползком, хватаясь руками за камни и деревца, измотавший нас, но мы, в конце концов, выкарабкались на наш красивый луг, поднялись по нему и опять увидели вдали Сан-Франциско.

— По этой тропе, бывало, ходил Джек Лондон, — сказал Джафи. Мы прошли вдоль южного склона прекрасной горы, откуда открывался вид на Золотые Ворота и даже на Окленд за много миль отсюда, — мы любовались им несколько часов, пока плелись по тропе. Вокруг лежал прекрасный заповедник с мирными дубовыми рощицами, золотыми и зелеными в свете позднего дня, и с изобилием диких цветов. Один раз мы увидели молодого олешка, остановившегося пощипать травки и уставившегося на нас изумленными глазами. Мы спустились с этой луговины в глубину леса секвой, затем опять поднялись — снова по такому крутому склону, что приходилось страшно ругаться и потеть в этой пыли. Все тропы таковы:

сначала паришь в эдаком шекспировском арденском раю, ожидая вот-вот встретить нимф и мальчиков с флейтами, а потом на тебя внезапно наваливается раскаленное солнце, доводящее до кипения, просто адская пыль, крапива и ядовитый дубок… как и в самой жизни.

— Плохая карма автоматически вызывает хорошую карму, — сказал Джафи. — Не матерись так сильно, пошли — и скоро очень мило присядем на плоском холмике.

Последние две мили подъема по этому холмику были просто ужасны, и я сказал:

— Джафи, есть одна-единственная штука, которую мне бы прямо сейчас хотелось больше всего на свете — больше всего, чего мне хотелось за всю свою жизнь. — Дули холодные ветры сумерек, мы спешили по бесконечной тропе, согнувшись под тяжестью рюкзаков.

— Какая штука?

— Славная большая плитка «Херши» — или хотя бы маленькая. Так или иначе, но плитка «Херши» спасла бы мою душу прямо сейчас.

— Вот он, весь твой буддизм: плитка «Херши». А как по части лунного света на апельсиновой роще и стаканчика ванильного мороженого?

— Слишком холодно. Единственное, чего я

хочу, желаю, за что молюсь, к чему стремлюсь, чего жажду, умираю — прямо вот сейчас — это плитка «Херши»… с орехами. — Мы оба очень устали и плелись домой, переговариваясь, как пара маленьких детишек. Я все канючил и канючил плитку старого доброго «Херши». Мне действительно хотелось шоколадку. Мне все равно требовалась энергия: я уже слегка одурел и нуждался в сахаре, но представлять, как шоколад с орехами тает во рту, здесь, на этом холодном ветру — это было чересчур.

Вскорости мы уже перелезали через изгородь пастбища, которое вело прямо к лужайке с конями над нашим домиком, потом перелезали через колючую проволоку уже на самом нашем дворе, ползли последние двадцать футов по высокой траве мимо моей постели под розовым кустом и к двери собственной старой доброй избушки. То был наш последний совместный вечер дома. Мы печально сидели в темноте, сняв башмаки и вздыхая. Я мог сидеть только поджав под себя ноги — так они меньше болели.

— Всё, с походами я завязал, — сказал я.

Джафи ответил:

— Что ж, нам все равно готовить ужин, а я вижу, за эти выходные мы все подчистили, придется

спуститься и прикупить еды.

— Ох, чувак, ты разве не устал? Ложись спать, завтра поедим. — Но он лишь печально натянул сапоги снова и вышел прочь. Все разъехались, вечеринка кончилась, как только обнаружили, что мы с Джафи исчезли. Я затопил печку, лег и даже немного поспал — как вдруг стемнело, вошел Джафи, зажег керосиновую лампу и вывалил на стол покупки, и среди них были аж три плитки шоколада «Херши» — для меня. Это был самый великолепный шоколад в жизни, который я ел. Еще он принес моего любимого вина, красного портвейна — тоже только ради меня.

— Я уезжаю, Рэй, и прикинул вот, что мы с тобой могли бы немного это отметить… — Его голос затих печально и устало. Когда Джафи уставал, а он часто совершенно изматывал себя походами или работой, его голос становился отдаленным и маленьким. Но вскоре он собрал воедино все свои силы и начал готовить ужин, и запел у плиты, словно миллионер, топая сапожищами по гулким половицам, подравнивал букетики цветов в глиняных горшочках, кипятил воду для чая, пощипывал струны гитары, пытаясь хоть немного меня приободрить, пока я лежал, уныло уставясь в джутовый потолок. То была наша последняя

ночь, мы оба это ощущали.

— Интересно, кто из нас умрет первым, — размышлял я вслух. — Кто бы вперед ни умер, возвращайся обратно, призрак, и дай им ключ.

— Ха! — Он принес мне ужин, и мы сели по-турецки и зачавкали, как и множество ночей прежде: и только ветер ярился в океане деревьев, да зубы наши хряпали простую и скорбную пищу бхикку. — Только подумай, Рэй, как было на этом вот самом холме, где стоит наша избушка, тридцать тысяч лет назад, во времена неандертальцев. Ты соображаешь: в сутрах говорится, что существовал Будда тех времен — Дипанкара?

— Тот, который никогда ничего не говорил!

— Неужели ты не видишь всех этих просветленных людей-обезьян: они сидят у ревущего костра, собравшись вокруг своего Будды, ничего не говоря и все зная!

— Звезды были теми же самыми, что и сегодня.

Позже к нам поднялся Шон и тоже сел, скрестив ноги, коротко и грустно поговорил с Джафи. Все кончилось. Потом пришла Кристина с обоими детишками на руках — она была хорошей сильной девушкой и могла ходить по горам с тяжелой ношей. Той ночью, отправившись спать под свой

куст роз, я стал оплакивать внезапную холодную тьму, упавшую на нашу избушку. Она напоминала мне первые главы жизнеописания Будды — когда он решает покинуть дворец, оставить скорбеть свою жену и дитя, своего несчастного отца и ускакать на белом коне, когда он обрезает в лесах золотые волосы и отсылает коня с плачущим слугой обратно, и когда пускается в скорбное путешествие по лесу, чтобы навсегда отыскать истину. «Подобно птицам, что собираются в полуденных деревьях, — писал почти два тысячелетия назад Ашвагхоша, — а с приходом ночи все исчезают, — так и разделения мира.»

На следующий день я собирался сделать Джафи что-нибудь вроде странного маленького прощального подарка, но у меня уже не оставалось ни денег, ни особенных идей, поэтому я просто взял крохотный кусочек бумаги — с ноготь большого пальца — и старательно написал на нем печатными буквами: ДА ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ЖЕ АЛМАЗНЫМ РЕЗЦОМ МИЛОСЕРДИЯ, — и когда мы прощались на пирсе, я его ему вручил, он прочел, сразу положил себе в карман и ничего не сказал.

Последнее, за чем его видели в Сан-Франциско: Психея, в конце концов, оттаяла и написала ему такую записку: «Встретимся у тебя на судне

прямо в каюте, и я дам тебе то, чего ты хочешь,» — или что-то в этом духе, поэтому никто из нас не стал подниматься на борт, чтобы проводить его до самой каюты — там его ожидала Психея, чтобы устроить последнюю страстную сцену любви. Подняться позволено было только Шону, и он болтался там, Бог знает чего дожидаясь. Поэтому после того, как мы все помахали рукой, попрощались и ушли, Джафи с Психеей, как подразумевалось, позанимались в каюте любовью, и она после этого разрыдалась и тоже стала проситься в Японию, а капитан уже приказал всем провожающим покинуть борт судна, а она сходить на берег никак не хотела, поэтому в конце произошло вот что: судно уже отчаливало, когда Джафи вышел на палубу с Психеей на руках и сбросил ее с парохода — силы у него хватало на то, чтобы отшвырнуть девчонку от борта на десять футов, на самый пирс, где Шон ее и поймал. И хотя это было не совсем в духе «алмазного резца милосердия», ну да ничего — ведь он же хотел перебраться на этот свой другой берег и приступить к собственным делам. А дела его касались Дхармы. И сухогруз вышел в море сквозь Золотые Ворота и дальше, к глубоким валам серого Тихого океана и через него, на запад. Плакала Психея,

плакал Шон, всем было грустно.

Уоррен Кафлин сказал:

— Очень плохо: он, вероятно, сгинет в Центральной Азии, где-нибудь на рядовом, спокойном переходе из Кашгара в Ланчжоу через Лхасу, пропадет вместе с караваном яков: он будет торговать кукурузными хлопьями, английскими булавками и швейными нитками разных цветов, время от времени взбираться на Гималаи, в конце концов, просветит самого Далай-Ламу и всю его шарагу на многие мили вокруг, и о нем никто никогда больше не услышит.

— Не пропадет, — сказал я. — Он нас слишком любит.

А Алва заметил:

— Все равно все заканчивается слезами.

31

Теперь, словно палец Джафи указывал мне путь, я тронулся на север, к своей горе.

Было утро 18 июля 1956 года. Я спустился и попрощался с Кристиной, поблагодарил ее за все и зашагал вниз по дороге. Кристина махала мне с заросшего травою двора.

— Здесь теперь станет одиноко — все разъехались, и по выходным больше не будет попоек. — Ей, на самом деле, нравилось все, что тут происходило. Так она и стояла босиком у себя во дворе с маленькой босоногой Праджной, а я уходил прочь по краю пастбища.

Путешествие на север оказалось легким, как будто бы со мною оставались наилучшие пожелания Джафи, чтобы я добрался до своей горы: их можно было хранить вечно. На 101-м я сразу же сел к одному преподавателю общественных наук — сам он был из Бостона, а теперь пел на мысе Кейп-Код и не далее как вчера грохнулся в обморок на свадьбе у своего корефана, поскольку до этого долго постился. Когда он высадил меня в Кловердэйле, я закупил себе припасов на

дорогу: салями, клин «чеддара», «Рай-Крисп» и еще немножко фиников на десерт, и аккуратно завернул все в упаковки. С нашего последнего совместного похода у меня остались орешки и изюм. Джафи сказал мне тогда:

— На сухогрузе мне они не понадобятся. — С уколом грусти я припомнил, насколько серьезен Джафи всегда был по поводу еды, и пожелал, чтобы весь мир был столь же серьезен по этому поводу — вместо своих дурацких ракет, машин и взрывчатки: ведь они там тратят все деньги, отпущенные на еду, все равно только на то, чтобы оторвать друг другу головы.

Пообедав за гаражами, я прошел около мили по дороге до моста через Русскую Реку, где и застрял на целых три часа в серой хмари. Но зато потом меня неожиданно подвез какой-то фермер с нервным тиком, от которого у него дергалось все лицо: он ехал с женой и сыном; недалеко, до городка под названием Престон, где один дальнобойщик предложил довезти меня до самой Эврики («Эврика!» — завопил я), а потом разговорился и сказал:

— Шут его знает, но мне иногда одиноко кататься по ночам — поговорить хочется. Хочешь, я довезу тебя до самого Крезнт-Сити? — Это было не совсем по пути, но все-таки немного дальше,

чем Эврика, поэтому я согласился. Парня звали Рэй Бретон, он вез меня двести восемьдесят миль — всю ночь напролет, под дождем, болтал без умолку — про всю свою жизнь, про братьев, жен, сыновей, про своего отца, — а в Гумбольдтовском Заповеднике (где растут секвойи), в ресторанчике «Арденский Лес» я сказочно пообедал: жареные креветки, громадный пирог с клубникой и ванильное мороженое на десерт, целый кофейник кофе, и он за все заплатил. Я сбил его с темы его личных неприятностей на тему Последних Вещей, и он сказал: — Ага, те, кто хороший, остаются на Небесах, они были на Небесах с самого начала. — И это было очень мудро.

Мы ехали дальше сквозь ночной дождь и прибыли в Крезнт-Сити на рассвете, в сером тумане: это маленький городишко у самого моря, мы поставили машину прямо на песке и проспали целый час. Потом он меня оставил, предварительно накормив завтраком: яичницей с оладьями, — возможно, ему осточертело постоянно за меня платить, и я стал пехом выбираться из Крезнт-Сити и дальше — по дороге на восток, Шоссе 199, чтобы снова выйти на 99-ю трассу, которая запулит меня в Портленд и Сиэттл быстрее, чем более живописная, но медленная дорога по берегу.

Я вдруг почувствовал в себе такую свободу, что аж зашагал прямо посреди дороги, голосуя, — в общем, перся, будто какой-нибудь китайский святой в Никуда и нипочему: я двигался к своей горе, чтобы возрадоваться. Бедный ангельский мирок! Меня вдруг все перестало колыхать — дойду и пешком. Но единственно лишь потому, что я выплясывал по самой середине, плевав на всё, все немедленно начали меня подбирать — старатель с маленьким трактором на прицепе, который буксировал его сын, и у нас с ним завязалась долгая беседа о лесах, о горах Сискию (через которые мы как раз ехали, направляясь к перевалу Гранта в Орегоне), о том, как хорошенько запекать рыбу: он сказал, что для этого нужно лишь развести костер на чистом желтом песке у ручья, потом загасить его, расчистить место и закопать рыбу в горячий песок, оставить ее там на несколько часов, потом вытащить и отряхнуть от песка. Его очень заинтересовал мой рюкзак и мои планы.

Он высадил меня в горной деревушке, очень похожей на Бриджпорт в Калифорнии, где мы с Джафи нежились на солнышке. Я прошел около мили и лег подремать в лесах — в самом сердце хребта Сискию. Проснулся я, почувствовав себя очень странно посреди китайского неведомого

тумана. Пошел дальше, как и раньше — по обратной стороне дороги, и в Керби меня посадил к себе светловолосый торговец подержанными автомобилями — до перевала Гранта, и там, после того, как жирный ковбой на грузовике с гравием, злорадно оскалившись, попытался проехаться прямо по моему рюкзаку, стоявшему на проезжей части, печальный мальчишка-лесоруб в каске очень быстро, ныряя то вниз, то вверх по огромным перекатам мечтательной долины, довез меня до Каньонвилля, где, как во сне, рядом остановился сумасшедший автопогрузчик с контейнером перчаток на продажу, и шофер, Эрнест Петерсен, всю дорогу любезно болтая и заставив меня сесть к нему лицом (так, что я мчался по шоссе спиной вперед), доставил меня в Юджин, Орегон. Он говорил обо всем на свете, купил мне два пива и даже останавливался на нескольких бензоколонках и выставлял образцы товара. Он говорил:

— Мой отец был великий человек, у него была поговорка: «В этом мире гораздо больше конских задниц, чем самих коней». — Он оказался ненормальным болельщиком и на соревнованиях по бегу всегда засекал время собственным секундомером; бесстрашно и независимо он гонял по

округе на своем погрузчике и отбрехивался от местных, пытавшихся запихать его в профсоюз.

На красном закате дня мы с ним распрощались у славного озерка под Юджином. Здесь я и намеревался провести ночь. Я расстелил спальник под сосной, среди густого подлеска через дорогу от хорошеньких пригородные домишек, откуда увидеть меня не могли — да и не хотели, поскольку всё равно все смотрели телевизор, — съел ужин и проспал двенадцать часов в своем мешочке, только раз проснувшись посреди ночи, чтобы намазаться лосьоном от комаров.

Наутро я уже смог разглядеть мощные отроги Каскадного хребта, самым северным концом которого будет как раз моя гора на самой кромке Канады, еще в четырехстах милях к северу. Утренняя речка пахла дымом — через дорогу стояла лесопильня. Я умылся и двинулся дальше, произнеся лишь одну кратную молитву над четками, что подарил мне Джафи в лагере на Маттерхорне: «Преклонение перед пустотой божественной бусины Будды».

На открытом шоссе меня сразу же подобрали два крутых молодых парняги — до Джанкшн-Сити, где я выпил кофе и протопал пару миль до придорожного ресторана: там все выглядело

неплохо, я поел блинчиков и зашагал по камням на обочине, машины пролетали мимо, и только я подумал, как же мне добраться до Портленда, не говоря уже про Сиэттл, как рядом притормозил смешной легковолосый маленький маляр — в башмаках, заляпанных краской, с четырьмя пинтами холодного пива в банках; он остановился у дорожной таверны купить еще пива, и вот, наконец, мы очутились в Портленде — пересекали вечность по огромным мостам, а они разводились прямо у нас за спиной, пропуская плавучие краны: большой, дымный город у реки, окруженный мохнатыми хребтами. В центре Портленда я за двадцать пять центов сел в автобус до Ванкувера, штат Вашингтон, съел там кони-айлендский гамбургер, потом — снова на дорогу, на 99-ку, где милый усатый паренек, сезонник-Бодхисаттва с одной почкой, подобрал меня и сказал:

— Да мне загордяк, что я тебя взял — будет теперь с кем поговорить, — и везде, где бы мы ни остановились попить кофе, он бросался к автоматам китайского бильярда и играл со смертельной серьезностью, а еще подбирал по дороге всех стопщиков: сначала — широкого сезонника из Алабамы, говорившего врастяжечку, потом — чокнутого матроса из Монтаны, из которого так

и пер шизовый интеллигентский треп, а мы тем временем неслись наверх к Олимпии, Вашингтон, на восьмидесяти милях в час, затем вверх по полуострову Олимпик, по извилистым лесным дорогам до военно-морской базы в Бремертоне, а там уж от Сиэттла меня отделял только пятидесятицентовый паром!

Мы попрощались и с бродягой-сезонником пошли на переправу, я заплатил за него как бы в благодарность за свою чертовскую везучесть на дороге и даже сунул ему горсть орехов и изюма, которые он прожорливо слопал, поэтому я дал ему еще колбасы и сыра.

Затем, когда мы уселись в центральном салоне, я выбрался на верхнюю палубу и, пока паром под промозглой моросью отчаливал, врубался в пролив Пьюже-Саунд и торчал. Ходу до порта Сиэттл было один час, и тут я обнаружил под журналом «Тайм» полпинты водки, заткнутые за леера, как ни в чем ни бывало выдул ее, расстегнул рюкзак, вытащил свей теплый свитер, поддел его под штормовку и принялся расхаживать взад и вперед по холодной, обдуваемой туманом палубе, совсем один, и мне было дико и лирично. Как вдруг увидел, что Северо-Запад — это гораздо, гораздо больше, чем то крохотное видение, воз-

никшее у меня в мозгу, когда я думал о Джафи. Мили и мили невероятных, невозможных гор, вознесящихся по всем горизонтам в дичайшие разломы туч, Маунт-Олимпус и Маунт-Бейкер, гигантский оранжевый кушак во хмари над тихоокеанскими небесами, уходящими, как я знал, к Хоккайдо, к сибирским опустошенностям мира. Я прижался снаружи к рубке, подслушивая марктвеновский разговор шкипера и рулевого внутри. Впереди, в сгущавшемся сумеречном тумане проступила большая красная неоновая надпись: ПОРТ СИЭТТЛ. И вдруг всё, что Джафи когда-либо рассказывал мне о Сиэттле, начало просачиваться в меня, словно холодный дождь, — теперь я ощущал и видел это, а не просто представлял. Все было в точности как он говорил: сыро, неохватно, лесисто, горно, холодно, воодушевляюще, вызывающе. Паром ткнулся в пирс на Аляскан-Уэй, и я сразу же увидел столбы тотемов у старых лавок, древнюю маневровую «кукушку» годов этак 1880-х, на которой взад и вперед по набережной ветке пыхтели сонные пожарники, словно сценка из моих собственных снов — старинный

американский локомотив Кейси Джонса[32], единственный старый и настоящий, увиденный мною не в вестернах, а на самом деле в работе: он волок товарные вагоны в прокопченном сумраке волшебного города.

Я немедленно отправился в хорошую чистую гостиницу в бедном квартале — в «Отель Стивенс», — взял на ночь себе комнату за доллар семьдесят пять, вымылся в горячей ванне и хорошенько и тщательно выспался, а наутро побрился и вышел на Первую Авеню, где совершенно случайно и обнаружил всевозможные магазины «Гудвилла» с распродажами чудесных свитеров и красного нижнего белья, плотно позавтракал на переполненном утреннем рынке с кофе за пять центов, а над головой парило голубое небо

---

[32] Примечания: 32

Джон Лютер Джоунз (1864–1900) — машинист железнодорожной линии Иллинойс-Центральная, родился в Джексоне, Теннесси. Ночью 29 апреля 1900 года, подъезжая к Мемфису, узнает, что машинист, который должен был вести пассажирский поезд «Кэннонболл-Экспресс» обратно, заболел, и вызвался заменить его. Проезжая по штату Миссисипи со скоростью 75 миль в час, чтобы наверстать упущенное время, в четыре часа утра заметил, что впереди намертво остановился грузовой состав. Кэйси Джоунз приказал своему кочегару прыгать, а сам, не выпуская рычагов, врезался своим локомотивом в задний вагон товарняка. Огромная щепка пробила ему голову. Хотя в апреле того года на железных дорогах США произошло 27 таких столкновений, эта авария стала широко известна благодаря балладе Эдди Ньютона «Кэйси Джоунз», стихи которой написал друг машиниста Т. Лоуренс Сайберт.

и стремительно и плавно неслись рваные облака, и под ветхими пирсами играли и искрились воды Пьюже-Саунда. Это был настоящий, подлинный Северо-Запад. В полдень я выписался из гостиницы и вместе с радостно упакованными новыми шерстяными носками, головными платками и прочим пошагал на 99-ку — из города это несколько миль, и меня многие по чуть-чуть подбрасывали.

Теперь на северо-восточном горизонте передо мною вырисовывались Каскады — неимоверные зубцы, искореженные скалы и заснеженные громадины: тут уж хочешь не хочешь, а варежку разинешь. Дорога бежала прямо сквозь сонные плодородные долины с фермами и буренками на выпасе — сразу под этими гигантскими декорациями снежно-чистых куч. Чем дальше на север я продвигался, тем больше становились горы, пока, наконец, я не начал их бояться. Меня подвозил один мужик, похожий на осторожного очкастого юриста в консервативном автомобиле, но выяснилось, что он — знаменитый Бэт Линдстром, гоночный чемпион, а в его консервативной тачке стоит пришпоренный движок, который может выдавать сто семьдесят миль в час. Но он показал мне это, разогнав его лишь до красной черты,

чтоб я только послушал глубокий гул мощи. Затем меня подвез лесоруб, сказавший, что знает всех лесничих там, куда я еду; потом он добавил:

— Долина Скагит — только вторая после Нила по плодородию. — Он высадил меня на Шоссе 1-Джи, которое оказалось маленьким переходом до 17-А, вившегося в сердцевину гор и заходившего в самый настоящий тупик на грунтовке у Дьявольской Дамбы. Вот теперь-то я по-настоящему очутился в горной стране. Приятели, подбиравшие меня, работали на лесоповалах, на урановых разработках, на фермах, они провезли меня через последний крупный городок долины Скагит — через Седро-Вулли, там находился рынок окрестного фермерства — а оттуда дорога уже только сужалась и петляла между утесами и рекой Скагит; когда мы переезжали через нее по 99-му, она текла сонно и толстобрюхо среди заливных лугов, а теперь это была чистейшая стремнина, узко и быстро изливавшаяся из таявших снегов меж берегов, заваленных склизким топляком. По обеим сторонам начали громоздиться утесы. Сами заснеженные вершины пропали, отступив за пределы моего поля зрения: я их больше не видел, но начинал сильнее их чувствовать.

32

В таверне я увидел ветхого старика, который едва мог шевелиться, подавая мне из-за стойки пиво, и я подумал: уж лучша я умру в ледниковой пешере, чем вот в таком пыльном чулане на закате вечности. Парочка, похожая на дуэт Мина и Билла, высадила меня у бакалейной лавки в Соке, а оттуда моим последним водителем стал безумный, пьяный темноволосый гитарист-гуртоправ из долины Скагит, с длинными бакенбардами, который выписывал по дороге стремительные шаткие виражи и завершил свой пыльный полет у Марблмаунтского Лесничества — я был уже дома.

Помощник лесничего стоял и смотрел на нас:

— Вы — Смит?

— Ага.

— Это ваш друг?

— Не-а, просто подбросил меня.

— Кто он такой, что так гоняет по государственным владениям?

Я поперхнулся: я больше не был свободным бхикку. По крайней мере, до тех пор, пока не до-

берусь до своего горного убежища. Мне пришлось провести целую неделю в Школе Пожарных с целой кодлой молоденьких пацанов: на всех там надели каски, и мы носили их либо прямо, либо как я — лихо заломив набекрень; мы рыли противопожарные рвы в мокрых лесах, или валили деревья, или устраивали себе миниатюрные экспериментальные пожары, и я встретился тут со старинным рейнджером, некогда бывшим лесорубом — с Бёрни Байерсом, тем самым, которого постоянно изображал Джафи своим громким, глубоким и смешным голосом.

Мы с Бёрни сидели у него в грузовичке среди лесов и говорили о Джафи:

— Чертовски обидно, что Джафи в этом году не приезжает. Он был лучшим наблюдателем у нас и, ей-Богу, лучше всех торил тропу — из тех, кого я знал. В нем же зудело все — так он хотел лазить по округе, к тому же он всегда был такой бодрый и веселый — ни разу не встречал пацана лучше него. И никого не боялся, все так прямо и выкладывал. Как раз то, что мне нравится, потому что когда подойдет срок и человек не сможет сказать, что ему хочется, то я тогда, наверное, уйду подальше и повешусь где-нибудь в сарае. Хотя с Джафи вот еще что, где бы он ни провел

остаток своей жизни, и плевать, до скольки лет он доживет: ему всегда будет по кайфу. — Бёрни было лет шестьдесят пять, и он действительно говорил о Джафи как-то очень по-отцовски. Некоторые другие парни тоже помнили Джафи и спрашивали, почему он снова не приехал. В тот вечер, поскольку была сороковая годовщина работы Бёрни в Лесной Службе, остальные лесничие скинулись ему на подарок — новый широкий кожаный ремень. У старины Бёрни постоянно случалась с ремнями какая-нибудь ерунда, и он в то время подпоясывался каким-то шнурком. И вот он надел новый ремень и что-то сострил о том, что пора прекращать много лопать, и все захлопали в ладоши и закричали. Я прикинул, что Бёрни с Джафи, вероятно, — двое самых лучших людей, что когда-либо работали в этих местах.

После занятий в Пожарной Школе я бродил некоторое время по горам за Лесничеством или же просто сидел у стремительного Скагита с трубкой в зубах и бутылкой вина между колен — и днями, и лунными ночами, а остальные пацаны оттягивались по пиву на местных карнавалах. В Марблмаунте река Скагит текла с ледников стремительно и чисто и была ясно-зеленой; над нею облака окутывали сосны тихоокеанского Северо-

Запада, а еще дальше, за ними, вставали пики, и облака плыли прямо сквозь них, а иногда рвано проглядывало солнце. Он был произведением спокойных гор — этот бурный поток чистоты у моих ног. Солнце играло на бурунах, топляк цеплялся из последних сил. Птички чиркали понад самой водой — шпионили за рыбой, которая где-то улыбалась себе втихушку и лишь изредка выпрыгивала из воды, на лету изгибая спину, и вновь плюхалась в реку, с шумом спешившую дальше и стиравшую саму рыбью лазейку, и всё уносилось вперед. Со скоростью двадцать пять миль в час мимо проплывали бревна и коряги. Я прикинул, что если в узком месте попытаться тут переплыть, то прежде, чем вышвырнет на другой берег, меня снесет вниз по течению примерно на полмили. Тут была речная страна чудес, пустота золотой вечности, запахи мха и коры, веточек и грязи — завывающая ткань таинственных видений у меня перед самыми глазами, и тем не менее — безмятежная и нескончаемая: гривы деревьев на гребнях гор, танцующий солнечный свет. Когда я поднял глаза кверху, облака приняли, как я это воспринял, выражение лиц отшельников. Сосновые сучья, похоже, были довольны купанием в водах. Верхние деревья, обернутые

туманом, тоже выглядели удовлетворенными. Тряские солнечные листочки северо-западного ветерка, казалось, взросли только чтобы радоваться. Высокие снега на горизонте — без единого следа на них — были какими-то убаюканными и теплыми. Все вокруг пребывало непреходяще отвязанным и четким, оно всё и везде было за пределами истины, за пределами голубизны пустого пространства.

— Горы здорово терпеливы — а, чувак Будда? — произнес я громко и отпил из бутылки. Было зябко, но когда выглядывало солнышко, пень, на котором я сидел, превращался в докрасна раскаленную духовку. Когда же я возвращался к нему при свете луны, весь мир походил на сон, на фантом, на радужный пузырь, на тень, на испаряющуюся росу, на вспышку молнии.

Наконец, мне подошло время упаковываться на свою гору. Я на сорок пять долларов накупил круп в крохотном марблмаунтском бакалейном магазинчике, мы загрузили все это в грузовичок — погонщик мулов Хэппи и я, — и выехали вверх по реке к Дьявольской Дамбе. Пока мы ехали, Скагит становился все уже и бурливее; в конце концов, поток начал неистово биться о камни, подпитываемый боковыми водопадами, сры-

вавшимися с тяжело-лесистых обрывов: поток дичал и оскаливался камнями. В Ньюхэйлеме реку Скагит перегораживала плотина, еще одну запруду образовывала сама Дьявольская Дамба, где гитантский подъемник, типа питтсбургского, возносил вас на платформе до уровня озера Дьябло. Эту местность в 1890-х годах охватила золотая лихорадка; старатели пробили тропу сквозь сплошные скальные утесы в горловине между Ньюхэйлемом и последней дамбой, образовавшей теперь озеро Росс-Лейк, и застолбили все водосбросы ручьев Рубинового, Гранитного и Каньонного — эти участки так никогда и не окупились. Теперь же большая часть этой тропы все равно ушла под воду. В 1919 году в верховьях Скагита бушевал пожар, и все места вокруг Опустошения — моей горы — горели целых два месяца, наполняя небеса над Вашингтоном и Британской Колумбией дымом, застилавшим свет солнца. Правительство пыталось с ним бороться, послали даже тысячу человек, установили непрерывные цепочки снабжения — а доставка из марблмаунтского пожарного лагеря тогда занимала три недели, и обугленные коряги, как мне сказали, до сих пор торчат на пике Опустошения и кое-где в долинах. Вот почему его так и назвали:

Опустошение.

— Парень, — сказал мне смешной старина Хэппи, погонщик, который до сих пор носил обвисшую ковбойскую шляпу в память о днях в Вайоминге, сам сворачивал себе самокрутки и травил байки, — не будь таким, как тот пацан, что сидел у нас несколько лет назад на Опустошении, мы его туда подняли, а он был совсем еще зеленый, и я упаковал его прямо на пост, и он попытался поджарить себе яичницу на ужин, разбил яйцо, промазал мимо своей хреновой сковородки, даже мимо своей хреновой плиты промазал, желток приземлился ему прямо на сапог, и он просто не знал, сквозь землю ему провалиться или сделать вид, что так и задумано, а когда я уходил, то сказал ему на прощанье, чтоб он слишком-то тут не дрочил, а этот щегол мне ответил лишь: «Хорошо, сэр, ладно, сэр».

— Да мне вообще плевать, я просто хочу просидеть наверху один все лето.

— Это ты сейчас так говоришь, а скоро совсем по-другому запоешь. Все на словах такие храбрые. А потом начинаешь сам с собою разговаривать. Это-то еще ладно — главное, сынок: не начинай себе же отвечать. — Старина Хэппи повел мулов по тропе через горловину, а я на лодке

проплыл от Дьявольской Дамбы до подножия Дамбы Росс, откуда открывались величественные и ослепительные виды на горы Национальното Заповедника Маунт-Бейкер, широкой панорамой охватывавшие озеро Росс-Лейк, которое сияюще вытягивалось до самой Канады. У Дамбы Росс, чуть поодаль обрывистого лесистого берега были привязаны плоты Лесничества. Ночевка на них оказалась делом трудным — они покачивались на воде, а когда волны ударялись в бревна, раздавались гулкие шлепки и не давали уснуть.

Когда я там ночевал, было полнолуние, луна танцевала на водах. Один из наблюдателей, ехавших с нами, сказал:

— Луна стоит прямо на горе — когда я это вижу, мне всегда мерещится силуэт койота.

Наконец, настал серый дождливый день моего отбытия на пик Опустошения. С нами был помощник лесничего, мы втроем поднялись спозаранку: в такой ливень далеко не приятно ехать весь день верхом.

— Парень, тебе в список продуктов надо было вписать пару кварт бренди: в такой холодине наверху не помещало бы, — сказал Хэппи, направив на меня свой красный носище. Мы стояли у загона, Хэппи кормил животных: подвязывал

торбы мулам на шеи, и те хрумкали себе, не обращая внимания на дождь. Мы подгребли к бревенчатому шлюзу, протолкнулись сквозь него и поплыли под громадными покровами гор Сауэрдау и Руби. Волны разбивались о плоты и обдавали нас дождем брызг. Мы спрятались в кабине штурмана, а у него уже был готов котелок кофе. Ели по крутым берегам озера — их едва можно было разглядеть — в тумане походили на выстроившихся по ранжиру призраков. То было подлинно северо-западное суровое и горькое уныние.

— А где Опустошение? — спросил я.

— Сегодня ты его не увидишь, пока не окажешься практически у него на самой макушке, — ответил Хэппи, — а там тебе и не шибко-то понравится. Там сейчас все вьюжит и ревет. Парень, а ты уверен, что все-таки не сунул куда-нибудь в рюкзак бутылочку бренди? — Мы с ним уже опорожнили кварту ежевичного вина, которую он купил в Марблмаунте.

— Хэппи, когда я в сентябре спущусь с этой горы, то куплю тебе целую кварту скотча. — Мне собирались заплатить хорошие деньги за то, что я отыщу ту гору, которую хотел.

— Ты обещал — смотри не забудь. — Джафи

много рассказывал мне про Хэппи-Упаковщика, как его еще называли. Хэппи был хороший мужик; они со стариной Бёрни Байерсом были тут самыми клевыми стариканами. Они знали горы, они знали вьючных животных — и, к тому же, не рвались стать в Лесничестве начальниками.

Хэппи тоже вспоминал Джафи с легким сожалением.

— Этот паренек знал огромнейшую кучу смешных песенок и всякого прочего. Да, ему действительно нравилось валить лес и торить тропы. У него еще как-то подружка была, китаянка в Сиэттле, я ее видал у него в номере, этот Джафи — ох, он с бабами был оторви-да-выброс. — Мне чудился голос самого Джафи, распевающего веселые песенки под свою гитару, а ветер завывал вокруг нашей барки, и серые волны плескали в окна штурманской кабины.

И вот это — озеро Джафи, а это — его горы, думал я, и мне хотелось, чтобы сам Джафи оказался здесь и увидел, как я делаю все, чего он от меня хотел.

Через два часа мы пристали к крутому лесистому берегу восемью милями выше, спрыгнули и привязали плот к старым пням, и Хэппи хлестнул первого мула, и тот сбежал с бревенчатого насти-

ла и ринулся вверх по скользкому откосу со своей двойной поклажей, неистово перебирая ногами и чуть было не свалившись обратно в озеро со всем моим провиантом, но взобрался-таки наверх и потопал в тумане на тропу дожидаться хозяина. За ним последовали остальные — с батареями и прочим оборудованием, и, наконец, сам Хэппи выехал вперед на своей лошади, за ним — я на кобыле по кличке Мейбл и помощник лесничего Уолли.

Мы помахали человеку на буксире и начали свою сырую и грустную экспедицию: жестокое арктическое восхождение в тяжелом и мутном дожде по узким каменистым тропам, где деревья и кустарник, когда мы продирались сквозь них, быстро промочили нас до самых костей. К луке седла я привязал свое нейлоновое пончо, но вскоре развязал скатку и накинул его на себя — верховой монах под покровом. Хэппи и Уолли ничего больше на себя не надевали и ехали мокрыми, лишь склонив головы. Лошади иногда скользили по камням. Мы ехали дальше и дальше, забираясь выше и выше, и, наконец, наткнулись на лесину, упавшую поперек тропы: Хэппи слез, вытащил двойвой топор и принялся за работу, матерясь и потея, — прорубал другую

тропу, в обход, вместе с Уолли, а мне было поручено присматривать за животными, что я и делал довольно удобным образом — сидя под кустиком и свернув себе сигаретку. Мулы боялись крутизны и неприспособленности обходной тропы, и Хэппи ругнулся на меня:

— Черт бы тебя побрал, хватай его за волосья и тащи сюда. — Потом испугалась кобыла. — Тащи наверх свою кобылу! Ты что, ждешь, что я приду и все за тебя сделаю?

Наконец, мы оттуда выбрались и полезли выше, оставив позади кустарники и достигши новых альпийских высот с каменистыми луговинами, на которых цвели голубой люпин и красный мак, оперяя серую дымку милыми расплывчатыми мазками цвета, а ветер уже хлестал изо всех сил мокрым снегом.

— Уже пять тыщ футов! — заорал Хэппи сверху, обернувшись на ходу, и поля его шляпы заворачивались от ветра: он скручивал папиросу, легко устроившись в седле — верхом он провел всю жизнь. Луговины с мокрым вереском и дикими цветами карабкались все выше и выше серпантинами троп, ветер все время становился жестче, и Хэппи, наконец, завопил: — Видишь скальный утес вон там? — Я поднял глаза и увидел скольз-

кий капюшон серой скалы в тумане, сразу над головой. — Еще тыщу футов, хотя, кажется, рукой подать. Когда мы туда взберемся, будем почти на месте. Там уж только полчаса останется.

— А ты уверен, что не прихватил все-таки ма-а-ахонькую лишнюю бутылочку бренди, парень? — обернувшись, снова завопил он минуту спустя. Он весь вымок и выглядел жалко, но ему было до балды, и я слышал, как он распевает на ветру. Мы постепенно забрались совершенно за линию лесов, луговина сменилась угрюмыми скалами, и земля вдруг покрылась снегом и справа от нас, и слева, ноги лошадей на целый фут с хлюпаньем проваливались в эту слякоть, и дырки от копыт быстро заполнялись водой, мы на самом деле высоко забрались. А вокруг я не мог разглядеть ничего, кроме тумана, белого снега и летящих клочьев дымки. В ясный день я бы увидел отвесные обрывы, уходящие из-под ног от самого края тропы, и боялся бы, как бы лошадь не поскользнулась; но теперь где-то внизу лишь смутно вырисовывалось нечто вроде верхушек деревьев, похожих на кочки, поросший травой. О, Джафи! — думал я, — а ты вот плывешъ по океану в безопасности, тебе в каюте тепло, ты пишешь письма Психее, Шону и Кристине.

Снег стал глубже, наши обветренные красные лица начал сечь град, и Хэппи закричал откуда-то сверху, наконец:

— Почти приехали! — Я весь промерз и промок: слез с лошади и просто повел ее дальше по тропе, она хрипло издала что-то вроде стона облегчения, избавившись от лишнего веса, и послушно последовала за мной. Ее и так изрядно нагрузили припасами.

— Вот она! — заорал Хэппи, и в завихрениях тумана на этой вершине мира я различил смешную, почти китайскую хижину с островерхой крышей среди маленьких востреньких елочек и валунов — она стояла на лысой верхушке скалы в окружении сугробов и проталин мокрой травы с крохотными цветочками.

Я сглотнул слюну. Домик был слишком темен и уныл, чтобы мне понравиться. И это он станет моим приютом и отдохновением на все лето?

Мы подволоклись к бревенчатому загону, выстроенному каким-то наблюдателем годах, наверное, в тридцатых, привязали животных и сняли с них вьюки. Хэппи пошел и отодвинул внешнюю защитную дверь, достал ключи, открыл хижину, и внутри все оказалось затхло и мрачно: земляной пол, стены с потеками дождя,

зловещая на вид деревянная койка с натянутой вместо матраса веревочной сетью (чтобы металлическая не притягивала молний), а окна совершенно непроницаемы от пыли, и хуже всего то, что весь пол завален старыми журналами, изодранными и изгрызенными мышами, везде остатки продуктов и бесчисленные черные катышки крысиного помета.

— Ну, что, — сказал Хэппи, обнажая мне свои длинные зубы, — тебе довольно долго придется все тут вычищать, а? Начинай прямо сейчас — убери с полки остатки консервов и вытри там всю грязь мокрой тряпкой с мылом. — Я так и сделал — должен был, мне за это платили.

А старый добрый Хэппи развел в буржуйке ревущий огонь, поставил на печку котелок с водой, всыпал туда полбанки кофе и завопил:

— В этих местах, парень, нет ничего лучше настоящего крепкого кофе — у нас тут такой кофе, что волосы дыбом становятся.

Я выглянул в окно: туман.

— Какая здесь высота?

— Шесть тысяч с половиной футов.

— А как же я отсюда увижу пожары? Тут ничего, кроме тумана.

— Через пару дней его весь сдует, и ты сможешь

видеть на сотни миль в любом направлении, не переживай.

Но я этому не поверил. Я вспомнил, как Хань Шан говорил о тумане на Холодной Горе — как он никогда не уходил; я начал ценить дерзость Хань Шана. Хэппи и Уолли вышли со мною наружу, и мы повозились вместе, устанавливая шест для анемометра и делая другую работу, затем Хэппи зашел внутрь и стал готовить потрескивавший ужин на печке — жарил колбасный фарш с яйцами. Мы выпили много кофе и хорошо, плотно поели. Уолли распаковал рацию на батареях и вызвал плоты на озере Росс. Потом они свернулись в своих спальниках на полу, а я лег в своем на сырую койку.

Наутро везде по-прежнему серый туман и ветер. Мужики приготовили животных и перед тем, как уезжать, повернулись ко мне и спросили:

— Ну, тебе нравится пик Опустошения? — А Хэппи добавил:

— Не забывай, что я сказал тебе про ответы на свои вопросы. А если примерещится, что смотрят в окно, закрой глаза.

Когда они скрылись в дымке среди искореженных деревьев на верхушках скал, окна взвыли, и очень скоро я вообще перестал различать их

фигуры и остался один на пике Опустошения на целую вечность, как я это себе представлял: я был уверен, что все равно никогда не выберусь отсюда живым. Я пытался разглядеть горы, но лишь случайные провалы в летящем тумане являли мне смутные дальние силуэты. Я сдался, зашел внутрь и весь день вычищал из хижины грязь.

Ночью я поверх штормовки и теплой одежды накинул пончо и вышел помедитировать на этой туманной верхушке мира. Здесь действительно было Великое Облако Истины, Дхармамега, конечная цель. Свою первую звезду я начал видеть около десяти часов, затем немного белой дымки расступилось, и мне показалось, что я вижу горы — гигантские, черные, скользкие тени на другой стороне пропасти, непроглядно черные и белые от снега на вершинах — вдруг так близко, что я аж подпрыгнул. В одиннадцать я различил вечернюю звезду над Канадой на севере, и мне почудилось, что я заметил за туманом оранжевый поясок заката, но это вылетело у меня из головы, стоило услышать, как свора крыс скребется в дверцу моего погреба. На чердаке маленькие алмазные мышки носились на черных лапках среди рассыпанных круп, рисинок и разного барахла, брошенного там целым поколением

неудачников Опустошения. Уф, оу, — думал я, — понравится ли мне это когда-нибудь? А если нет, то как я отсюда выберусь? Единственное, что мне оставалось — это залечь до утра спать, укрывшись с головой.

Посреди ночи, полупроснувшись, я, очевидно, приоткрыл глаза — и вдруг сон с меня слетел и волосы на загривке зашевелились: я увидел, что за моим окном стоит громадное черное чудовище; вгляделся — над ним висела звездочка, то была гора Хозомин за много миль отсюда, в Канаде, она склонялась мне на задний двор и заглядывала в окно. Весь туман растянуло — изумительная звездная ночь. Что за гора! У нее была та самая безошибочная форма башни ведьм, которую придал ей Джафи на своем рисунке кистью, что висел на джутовой стенке в нашей избушке среди цветов на Корте-Мадера. Гору опоясывало нечто вроде спирали дороги, вившейся вверх по скальному карнизу — выше и выше до самого верха, где вздымалась совершенная ведьмовская башня, указывая собою во всю эту бесконечность. Хозомин, Хозомин — самая скорбная гора, что я когда-либо в жизни видел, и самая прекрасная — как только я ее узнаю и увижу за нею Северное Сияние, отражающее в себе все льды Северного

Полюса с другой стороны мира.

33

И вот наутро я проснулся, а снаружи — прелестное голубое небо с солнышком, и я вышел на свой альпийский дворик, и вот оно всё — так, как рассказывал Джафи: сотни миль чистых заснеженных скал, и девственные озера, и мачтовый лис, а ниже вместо целого мира я видел море зефирных облаков, плоское, как крыша, простирающееся во все стороны на мили и мили, заливая своими сливками все долины — то, что называют низкой облачностью; с моего 6600-футового острия все это оставалось глубоко подо мною. Я сварил кофе на печке, вышел и согрел свои промозглые косточки на жарком солнце, сидя на деревянной ступеньке хижины. Крупному лохматому кролику я сказал: «Ти-ти,» — и он спокойно насладился минуткой моего общества, тоже разглядывая море облаков. Я поджарил яичницу с беконом, в сотне ярдов ниже по тропинке выкопал мусорную яму, засек ориентиры своим панорамным пожароискателем и определил названия всех волшебных скал и расщелин — имена, что Джафи так часто пел мне: Джек-Ма-

унтин, Ужас, Ярость, Вызов, Отчаянье, Золотой Рог, Сауэрдау, Кратерный пик, Руби, Маунт-Бейкер — больше, чем весь мир где-то в западной дали, Джекэсс-Маунтин, пик Кривой Палец, сказочные имена ручьев: Три Дурня, Коричный, Хлопотный, Молния, Вымерзающий. И все это было моим, ни единой пары человеческих глаз на целом свете не смотрело на эту неохватную циклораму материальной вселенной. На меня снизошло грандиозное ощущение ее нереальности: мысль о том, что это все — сновидение, не оставляла меня все лето, наоборот, она укреплялась и укреплялась, особенно когда я вставал на голову, чтобы улучшить кровообращение: на самой верхушке горы, подстилая джутовый мешок, и вот тогда горы выглядели пузырьками, висящими в пустоте вверх тормашками. Я на самом деле осознал, что они — вверх тормашками, и сам я — вверх тормашками! Здесь ничего не скрывало того факта, что гравитация безопасно удерживает всех нас вверх тормашками на поверхностной сфере земли в бесконечном пустом пространстве. И я вдруг понял, что я истинно один и мне больше нечего делать — надо лишь кормить себя, и отдыхать, и развлекаться, и пусть кто хоть слово на это скажет. Среди камней росли

маленькие цветочки — ведь их никто не просил расти, и меня самого никто не просил расти.

Днем зефирную крышу облаков лохмотьями сдуло, и мне открылось озеро Росс — прекрасная лазурная чаша далеко внизу, с крохотными игрушечными лодчонками отдыхающих: сами-то лодки не увидеть — слишком далеко, видны лишь жалкие бороздки, что они оставляют на озерном зеркале. Можно было разглядеть и перевернутые отражения сосен в озере, направленные в бесконечность. На исходе дня я валялся в траве и передо мною разворачивалось все это великолепие, а мне наскучило и я подумал: в этом ничего нет, потому что мне наплевать. Потом я подпрыгнул и запел, и стал танцевать, и насвистывать сквозь зубы так, что разносилось по всей Горловине Молнии, и эхо это было слишком неохватным. За хижиной лежало снежное поле, которое будет снабжать меня свежей питьевой водой до самого сентября — хватит ведерка в день, пусть себе тает в доме, из него хорошо зачерпывать жестяной кружкой ледяную водицу. Я чувствовал себя счастливым как никогда — лучше, чем во все эти годы, начиная с самого детства, я чувствовал себя взвешенно, радостно и одиноко.

— Бадди-о, йиддам-диддам-ди, — пел я, рас-

хаживая вокруг и пиная камни. Затем настал мой первый закат — он был невероятен. Горы покрылись розовым снегом, облака отдалились и украсились оборочками — как дальние древние города великолепной Земли Будды, — ветер трудился непрестанно — ш-шух, ш-шух, а иногда гулко гремел, расшатывая мое суденышко. Диск новой луны выпукло выступал и тайно смешил меня посреди бледного настила синевы между чудовищными накатами дымки, поднимавшейся от озера Росс, острые зазубрины вырисовывались из-за склонов, похожие на горы, которые я грифелем рисовал в детстве. Где-то, казалось, проходит золотой праздник радости. В дневнике я записал: «О, я счастлив!» В вершинах позднего дня я узрел надежду. Джафи был прав.

Когда тьма начала обволакивать мою гору, и вскоре снова настанет ночь, и звезды, и Ужасный Снежный Человек пойдет бродить по горе Хозомин, я развел в печке потрескивавший огонь, напек вкусных ржаных лепешек и сделал себе хорошее баранье рагу. Крепкий западный ветер бился в хижину: та была выстроена хорошо — стальные стержни уходили в бетонные заливки, ее бы не сдуло. Я был удовлетворен. Всякий раз, когда я выглядывал из окна, то видел альпий-

ские ели на фоне снежных шапок, ослепляющую дымку или озеро внизу, все смятое и лунное, словно в игрушечной ванночке. Я составил себе букетик люпина и других горных цветов в кофейной чашке с водой. Вершина Джек-Маунтин была оторочена серебряными облаками. Иногда я вдалеке видел вспышки молний, они внезапно высвечивали невероятные горизонты. По утрам иногда бывал туман, и мой хребет — хребет Голода — совершенно заволакивало молоком.

Тютелька в тютельку утром следующего воскресенья, как и в первый раз, на рассвете мне явилось море плоских сияющих облаков в тысяче футов подо мною. Каждый раз, когда мне становилось скучно, я сворачивал себе папироску, набивая ее из банки «Принца Альберта»: на свете нет ничего лучше неторопливого глубокого кайфа самокрутки. Я расхаживал в ярком серебристом покое с розовыми горизонтами к западу, а все насекомые умолкли в честь луны. Были и такие дни — жаркие и жалкие, с целыми чумными тучами саранчи, крылатых муравьев, духота, воздуха нет, облаков нет, я вообще не понимал, как может вершина горы на Севере становиться такой духовкой. В полдень единственным звуком на целом свете был симфонический гуд мил-

лионов насекомых, друзья мои. Но приходила ночь, а с нею — горная луна, и озеро заливал лунный свет, и я выходил наружу и сидел в траве, и медитировал, обернувшись лицом к Западу, желая, чтобы во всей этой безличной материи где-нибудь оказался какой-нибудь Личный Бог. Я выходил на свое снежное поле, выкапывал остывавшую там банку пурпурного желе и смотрел сквозь нее на белую луну. Я чувствовал, как к ней катится весь мир. Но ночам, когда я лежал в своем спальнике, из нижнего леса приходили олени и грызли остатки пищи, разложенные на жестяных тарелках во дворе: самцы с широченными рогами, оленухи и славный маленький молодняк — они походили на млекопитающих с другой планеты, такие скалы вставали в лунном свете за ними.

Затем начиналась дикая лирическая морось — ее приносило ветром с юга, и я говорил:

— Вкус дождя, зачем стоять на коленях? — И еще: — Настало время для горячего кофе и сигаретки, мальчики, — обращаясь к моим воображаемым бхикку. Луна становилась полной и огромной, и вместе с нею над горой Хозомин возникала Аврора Бореалис («Смотри на пустоту, и она станет еще тише,» — как сказал Хань Шан

в переводе Джафи); я и в самом деле был так тих, что стоило распрямить скрещенные ноги в альпийской траве, как где-то вдали раздавался топот копыт убегавших оленей. Стоя на голове на этой скальной крыше лунного света перед тем, как ложиться спать, я действительно мог видеть, что земля — взаправду вверх тормашками, а человек — это зловещий тщеславный жучок, полный странных идей, что расхаживает тоже вверх тормашками и хвастается, и еще я мог понять, что человек помнит, зачем это сновидение планет, плантаций и Плантагенетов выстроилось из первородной сущности. Иногда я свирепел, потому что не выходило как надо: оладьи подгорали, или я поскальзывался на снежном поле, когда ходил за водой, или как-то раз лопата у меня упорхнула на самое дно ущелья, и я так разозлился, что готов был пооткусывать верхушки со всех гор: зашел в хижину, пнул буфет и больно ударил большой палец. Но пускай разум не забывает: хоть плоть и червива, обстоятельства существования довольно-таки славны.

Единственное, чем мне приходилось заниматься, — это поглядывать по всем сторонам света в поисках дыма, включать свою рацию да подметать полы. Рация меня сильно не доставала:

поблизости не начиналось ни одного пожара, о котором следовало срочно сообщать, а в болтовне других наблюдателей я не участвовал. На парашюте мне скинули парочку батарей для радио, но и мои еще были в хорошем состоянии.

Как-то ночью в видении во время медитации Авалокитешвара Слышащий и Отвечающий на Молитву сказал мне: «Ты облечен силой напоминать людям, что они совершенно свободны,» — поэтому я возложил на себя руку, чтобы первым делом напомнить об этом самому себе, а затем ощутил веселье, вскричал: «Та!» — открыл глаза, и тут упала звезда. Бессчетные миры Млечного Пути, слова. Я ел суп маленькими меланхолическими мисочками, и так было гораздо вкуснее, чем из какой-нибудь обширной супницы… мой суп с горохом и беконом, суп Джафи. Каждый день я ложился часика два подремать, просыпался и оглядывал свою вершину, понимая, что «ничего этого никогда не случилось». Мир вверх тормашками висел в океане бесконечного пространства, а все эти люди сидели там в разных кинотеатрах, смотрели кино — внизу, в мире, к которому я вернусь… Расхаживал в сумерках по двору, распевая «Поздние часы», а когда дошел до строчки: «когда целый белый свет крепко спит,»

— глаза мой наполнились слезами.

— Ладно, мир, — сказал я, — я буду тебя любить. — Ночью в постели, согретый и счастливый в спальнике на своей хорошенькой пеньковой койке, я в лунном свете видел свой стол и одежду и чувствовал: бедный малыш Рэймонд, его день так горестен и хлопотен, его соображения так эфемерны, когда приходится жить — это так неотступно и убого… И на этой мысли я засыпал, как ягненок. Падшие ли мы ангелы, не желавшие поверить в то, что ничто — и есть ничто, поэтому мы и были рождены, чтобы терять возлюбленных наших и дорогих друзей, одного за другим, а в конце концов — и нашу собственную жизнь, чтобы только увидеть этому доказательство?.. Но возвращалось холодное утро, облака вздымались из Горловины Молнии, словно гигантские дымы, озеро внизу оставалось лазурно нейтральным, а пустое пространство — таким же, как и всегда. О, скрежещущие зубы земли, куда это все приведет, если не к какой-нибудь милой золотой вечности, чтобы доказать, что все мы были неправы, чтобы доказать, что и само доказательство — пшик…

34

Наконец, настал август — таким порывом, который потряс весь мой домишко до основания и предвестил крайне немного августейшести. Я приготовил малиновое желе цвета рубинов в заходящем солнце. Безумные неистовствовавшие закаты изливались морской пеной облаков сквозь невообразимые утесы, и с каждым розоватым оттенком надежды за ними я как раз чувствовал себя именно так — блестяще и бесцветно превыше всяких слов. Везде ужасные ледяные поля и солома под снегом; одинокая травинка треплется на ветрах бесконечности, прицепившись к камню. К востоку все было серо; к северу — ужасно; к западу — неистово безумно: твердые железные дурни боролись в выпестованном мраке; к югу — туман моего отца. Гора Джека — его тысячефутовая скальная шляпа надзирала за сотней футбольных полей снега. Коричный ручей выглядел орлиным гнездом шотландского тумана. Шалл полностью затерялся в Золотом Роге Блеклости. Моя масляная лампа горела в бесконечности. Бедная нежная плоть, — понял

я, — ответа нет. Я больше ничего уже не знал, наплевать, не имеет значения — и вдруг почувствовал себя действительно свободными За этим наступили по-настоящему морозные утренники, огонь потрескивает, я колю дрова, натянув шапку (ту, что с наушниками), а в домике мне будет лениво и чудно, меня всего обложат туманом ледяные облака. Ливень, гром в горах, а я у печки почитываю свои журнальчики с вестернами. Везде заснеженный воздух и древесный дым. Наконец, выпал снег — его покров вихрем принесся с Хозомина в Канаде, ворча, примчался ко мне, засылая блистательных белых вестников, сквозь которые проглядывал ангел света, а ветер подымался, низкие темные тучи рвались вверх как из горнила, Канада была сплошным морем бессмысленного тумана; снег пошел в наступление веером по всему фронту, заранее объявленный пением в моей печной трубе; он пошел на таран, впитав все мое старое синее небо, ставшее глубокомысленными облаками золота; вдали — перекаты канадского грома; а к югу еще более обширный и темный ураган смыкается с первым, как клещи, однако, гора Хозомин стояла и отражала атаку хмурым молчанием. И ничто не могло побудить веселые золотые горизонты дале-

ко к северо-востоку, где бури и в помине не было, поменяться местами с Опустошением. Вдруг колонна зеленой и розовой радуги опустилась прямо на хребет Голода в каких-то трехстах ярдах от моей двери — как удар молнии, как столп: она пришла вся в кипящих облаках и круговерти оранжевого солнца.

Что такое радуга, Господи?
Обруч
Для смиренных.

Обруч закатился прямо в ручей Молнии, снег с дождем упали одновременно, озеро в миле внизу стало молочно-белым, всё слишком уж сошло с ума. Я вышел наружу и моя тень вдруг окольцевалась радугой, пока я поднимался на вершину: тайна прелестного нимба, что заставила меня молиться. «О, Рэй, весь твой жизненный путь — капля дождя в неистощимом океане, который суть вечное пробуждение. Зачем беспокоиться впредь? Напиши и расскажи Джафи об этом.» Буря унеслась так же быстро, как и прилетела, и озерные блестки позднего дня ослепили меня. Поздний день, моя швабра сохнет на камне. Поздний день, мне холодит голую спину, пока я стою над всем миром посреди снежного поля, набивая

лопатами снега ведро. Поздний день — это я, а не пустота, изменился. Теплые розовые сумерки, я медитировал под желтым месяцем августа. Когда бы я ни услыхал гром в горах, он был словно утюг материнской любви. «Гром и снег, мы вместе навек!» — пел я. Неожиданно хлынули проливные осенние ливни — на всю ночь, миллионы акров Деревьев Бо всё омывались и омывались, а тысячелетние крысы у меня на чердаке благоразумно спали.

Утро — отчетливое ощущение приближающейся осени, приближающегося конца моей работы, дни теперь — дикие, ветреные, со сбесившимися облаками, в полуденном мареве — отчетливая золотинка. Ночь — сварил горячего какао и пел у печки. В горах я звал Хань Шана: ответа не было. Я звал Хань Шана в утреннем тумане: молчание, сказал туман. Я звал: Дипанкара, научи меня, не говоря ничего. Мимо летели космы тумана, я закрывал глаза, говорила лишь печка.

— Уоо! — вопил я, и птичка, сидевшая в совершенном равновесии на самом кончике ели, лишь покачивала хвостиком; затем улетела, и расстояние стало необозримо белым. Темные дикие ночи с намеком на близость медведей: в моей мусорной яме старые, прокисшие, закаме-

невшие банки давно испарившегося молока все изжеваны и разодраны могучими лапами чудовищ: Авалокитешвара-Медведь. Дикие холодные туманы с ужасающими провалами в них. На своем календаре я обвел кружочком пятьдесят пятый день.

Волосы у меня отросли, глаза в зеркале стали прозрачно-голубыми, кожа загорела и стала счастливой. Снова всю ночь порывы пронизывающего ливня, осеннего ливня, а я, тепленький, как гренка, в своем спальнике, вижу сны о долгих пехотных разведывательных рейдах по горам; холодное дикое утро с крепким ветром, мчащимися туманами, мчащимися облаками, внезапными яркими солнцами, нетронутым светом на прогалинах холма, и мой огонь ревет от трех больших бревен; и в тот самый день я возрадовался, услышав, как Бёрни Байерс по рации сзывает всех наблюдателей вниз. Сезон окончен. Я мерял шагами продутый ветром дворик, зажав в кулаке чашку с горячим кофе, и пел: «Блаббери-даббери, бурундук в траве». Вот он, мой бурундук — сидит на камне и смотрит в ярком, ясном, ветреном, солнечном воздухе; сцепив передние лапки, он сидел столбиком, прижав к животику горстку овса; он покусал зернышки, он стремглав кинулся

прочь, маленький чокнутый повелитель всего, что обозревал. В сумерках с севера спустилась солидная стена туч.

— Бр-р-р, — сказал я. И спел: «Во, ай-я-яй, во она как!» — имея в виду свою хижину, простоявшую тут все лето и не сдутую ветром, и еще я сказал: — Проходи, проходи, проходи — то, что проходит сквозь все! — Я видел, как шестьдесят закатов вращалось на этом перпендикулярном холме. Видение свободы вечности стало моим навсегда. Бурундук скрылся среди камней, и оттуда вылетела бабочка. Вот так вот всё просто. Птицы летали над крышей хижины, радуясь: им оставалась полоса сладкой черники в милю длиной, вплоть до самой линии лесов. В последний раз я вышел на край горловины Молнии, где на самом крутом утесе над ущельем была выстроена малюсенькая уборная. Сидя здесь каждый день целых два месяца, я всегда видел одни и те же искривленные узловатые деревца, что росли, казалось, прямо из камня, висящего в воздухе.

И внезапно мне показалось, что я вижу невообразимого китайского бродяжку: он стоял тут, в тумане, с выражением невозмутимого юмора на изборожденном морщинами лице. Это был не тот Джафи, что в реальной жизни — с рюкзаками,

занятиями буддизмом, с большими полоумными попойками на Корте-Мадера; то был Джафи реальнее, чем в жизни, Джафи моих сновидений, и он лишь стоял передо мною и ничего не говорил. «Убирайтесь, грабители разума!» — кричал он по впадинам невероятных Каскадов. Это был тот Джафи, что посоветовал мне приехать сюда, и хотя теперь он был за семь тысяч миль отсюда, в Японии, и шел на зов колокольчика к медитации (малюсенького колокольчика, он позже пришлет такой по почте моей маме — просто потому, что она моя мама, просто подарок, порадовать ее), казалось, он стоит на пике Опустошения возле старых кривых каменных деревьев, удостоверяя и оправдывая всё, что тут было.

— Джафи, — громко сказал я. — Я не знаю, когда мы встретимся вновь, я не знаю, что случится в будущем, но Опустошение… Опустошение… я столь многим обязан Опустошению, благодарю тебя навсегда за то, что привел меня в это место, где я научился всему. Вот подступает печаль возвращения к городам, а я стал на два месяца старше, а там — целое человечество баров, и варьете, и жесткой любви, всё вверх тормашками в пустоте. Господи благослови их, но, Джафи, ты и я, навсегда мы знаем, О вечно юный, О вечно

в слезах. — На озере внизу всплыли отражения небесного пара, и я сказал: — Бог, я люблю тебя, — и взглянул в небо, я действительно хотел это сказать. — Я влюбился в тебя, Бог. Позаботься обо всех нас — так или иначе.

Детям и невинным все это без разницы.

И в согласии с привычкой Джафи всегда опускаться на одно колено и произносить маленькую молитву той стоянке, которую мы покидали: и той, что в Сьеррах, и другим, в Приморском Округе, и ту маленькую благодарственную молитву, что он произнес избушке Шона в тот день, когда уплыл, — уже спускаясь по склону с рюкзаком, я обернулся, опустился на тропу и сказал:

— Спасибо, хижина. — Потом добавил: — Бла! — слегка ухмыльнувшись, поскольку знал: и хижина, и гора поймут, что это значит, — потом повернулся и стал спускаться по тропе обратно к этому миру.